

Иван Белов



ЗАСТУПА

Иван Александрович Белов

Заступа

Серия «Дети Великого Шторма (АСТ)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68872962

Заступа:

ISBN 978-5-17-152128-8

Аннотация

Новгородская земля, XVII век, дикий, неосвоенный край, место, где самые страшные легенды и сказания становятся былью, а Конец Света ожидается как избавление. Здесь демоны скупают души, оборотни ломают ворота, колдуны создают тварей из кусков человеческих тел, ходят слухи о близкой войне, а жизнь не стоит ломаного гроша. Леса кишат нечистью, на заброшенных кладбищах поднимаются мертвецы, древние могильники таят несметные сокровища, дороги залиты кровью, а с неба скалится уродливая луна, несущая погибель и мор.

И столь безумному миру нужен подходящий герой. Знакомьтесь – Рух Бучила, убийца, негодяй, проходимец и немножко святой. Победитель слабых, защитник чудовищ, охотник на смазливеньких вдов с девизом «Кто угодно, кроме меня». Последняя надежда перед лицом опустившейся темноты. Проклятый Богом и людьми вурдалак.

Содержание

Полста жен Руха Бучилы	5
Ванькина любовь	23
I	24
II	35
III	42
IV	57
V	63
VI	69
VII	74
VIII	77
IX	82
Птичий брод	85
Ночь вкуса крови [12]	127
Конец ознакомительного фрагмента.	130

Иван Александрович Белов

Заступа

© Иван Белов, текст, 2022

© Валерий Петелин, ил., 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Полста жен Руха Бучилы

Сплю. Снов не вижу, наяву грежу. Проклятый Богом и людьми, себе ненавистный. Могилой мне – камень, внутри – сухие кости и мертвая плоть. Ища спасения, обретаю тьму без теней и черную бездну. Кричу во все горло, но крик мой нем.

Год от Рождества Христова 1676-й, а счетом от Пагубы 374-й, выпал на високосный, предрекая великие беды и десять египетских кар. В високосный год Бог закрывает глаза, испытывая крепость веры людской, лишний день отдавая на откупление Сатане. Зима лютовала морозами, розоватое небо стекленело и лопалось, солнце потухло, снега заметали скаты бедняцких лачуг. В метелях слышался вой мертвецов. Волки пробирались за околицу и резали скот. Юродивые и монахи-расстриги, босые, грязные, покрытые рубищем и гнойными язвами, шатались по околоткам, пророча неурожаи и мор. Появлялись телята с шестью ногами, крестьяне полоумели и гнили живьем, у рожениц молоко скисало в грудях, исходили криком и умирали младенцы. Впервые за сотню лет замерзло Балтийское море, команды попавших в западню кораблей бросали суда с товаром и пробивались к земле, подальше от белого безумия и умертвий, прячущихся в пурге. Жители рыбацких селений убивали моряков без разбору и сжигали тела, ибо непонятно было, кто из них лю-

ди, а кто одержимые ледяными бесами кровожадные мертвецы. В Новгороде разразился невиданный голод, трупы лежали замерзшими грудями, ночью улицами правили безумцы, вкусившие человечины, у полиции не хватало сил, и ситуацию спасли только введенные в охваченный ужасом город войска. В Москве безумный царь Иван сжигал заживо ведьм, а из обрезанных у колдуний волос велел вить веревку длиной в четыре версты¹, по которой избранные взберутся на небеса и вымолят у Бога прощение для всей Русской земли. На юге орды порченных прорвали Большую засечную черту, выжгли три волости и большой кровью были разбиты на подступах к Самаре. В храмах, от заката до рассвета, били набат, отгоняя бесов и Черную смерть. Весны ждали как избавления...

Рух Бучила пробудился среди непроницаемой тьмы, пропитавшейся запахами склепа и гнили. Каменные стены сочлись холодом. На миг почудилось, будто он закопан в могиле живьем. Глаза привыкали к потемкам, робкий сквозняк нес пресные ароматы талого снега, взрытой земли и пролившегося дождя. Рух сел, саваном вытянув за собой лохмотья седой пауты. Какой нынче месяц? Видно, апрель. Деревья и травы, очнувшись от спячки, жадно пили корнями живительный сок, пускали почки и завивали листы. Рух слышал, как копошатся мыши в полях и птица садится в гнездо. Отгуляна широкая и пьяная Масленица, сошла большая вода,

¹ *Верста* – русская мера длины, равная 1,06 км. (Здесь и далее, если не указано иное, прим. ред.)

зеленоволосые мавки завели хороводы в заповедных лесах, русалки выползли на припек из стылой торфяной глубины.

Весна – время надежды, радости и забот. А для Руха Бучилы и вовсе страда. Весной, кроме прочего, просыпаются заложные мертвецы. Из тех, что померли смертью дурной и Царствия Небесного так и не обрели. Вытаивают в распадках, царапают когтями стенки неглубоких могил, булькают в трясинах, увитые тиной, разбухшие, с животами, набитыми головастиком и ужом. Снедаемые голодом, стонут и грызут себе руки, алчут плоти живой. Ползут с перекрестков и поганых погостов к селам и деревьям. А значит, время Руха Бучилы не вышло. Он еще нужен. Нужен мертвым и нужен живым.

Рух встал, словно паря в плотной осязаемой темноте. Ступни не чуяли укусов промерзшего пола. Суставы распрямлялись, сухо пощелкивая. Колени мерзко скрипели. Вот старая развальня. В теле поганая слабость, движения вялые, во рту горький привкус мышинового дерьма. Надо поесть. Рух поморщился, наконец поняв, что его разбудило. Чертово пение. Монотонный гул сочился в череп, бился в висках. Вот оно что! Господи, ну кто надоумил их петь? Сам Дьявол испытывает на Рухе новую муку. И неплохо выходит! Сукины дети. Приглушенные толщей земли и камня голоса выводили самозабвенно:

– Выходи, батюшка, выходи-покажись!

«Сейчас я вам покажусь, сволочье...» – подумал Рух.

Батюшка-Заступа,
Сыт будешь и пьян.
Надевывая кафтан,
На свадебку зван!

«Ах вот чего они горлопанят», – догадался Бучила.

– На свадебку зван...

– Да иду я, иду! – взорвался Рух, зловещее эхо заметалось по стылым каморкам, отражаясь от сводчатых потолков и ныряя в щели, заросшие чертополохом и мхом. Кафтан, говорят. Надо и правда сыскать чего поприличней. Негоже на свадьбу голодранцем являться. Особенно жениху.

Бучила заухал смехом, похожим на карканье старого ворона. Рваная истлевшая хламида упала к ногам. Рух остался нагим. Так и пойти? А толку? Ведь и слова против не скажут – задница голая, срам болтается, а кланяться будут, словно выряжен в соболя. Раньше Бучила и не такие шутки откалывал, а потом поостыл. Темен народишко и запуган. Подохлаешь с ними с тоски.

Рух подошел к размокшему старому шкафу. Дверца открылась бесшумно, просто приставленная на нужное место. Давно хотел починить, да все недосуг. Весь в заботах, то спать надо, то жрать...

Изнутри в лицо бросилось нечто, показавшееся с перепугу крупным и злым. Рух отшатнулся и закрылся рукой. По голове полоснуло упругое кожистое крыло. Угревший-

ся внутри нетопырь мерзко пискнул и выпорхнул в залитый чернильным облаком коридор.

– Тварь! – крикнул мохнатому ублюдку Рух. – Попадись мне ужо!

Насмешливый писк летучего мыша затерялся в проходах. Напугал, гадина, сто чертей тебе в дышло. Бучила чуть успокоился и достал самый праздничный и по совместительству единственный балахон. Когда-то дивно прекрасный, сотканный одной знакомой ведьмочкой из шерсти черной козы, крашенной дикой лапчаткой и дубовой корой. Умелицей была та рыжая ведьма, и не только в шитье... Рыжая, конопатенькая, жаркая словно огонь. Славные были ночки... Время не знает пощады. Озлобевшие от голода смерды забили ведьму камнями, тело сожгли и развеяли прах, а ряса изнасилась, обтрепалась и утратила цвет. Выбросить не поднималась рука.

Он бережно, боясь окончательно изорвать ткань, встряхнул одеяние и чихнул так, что едва не оторвалась голова. Лохмотья взметнули облако едкой удушливой пыли. Жаль, солнца нет, уж больно пылинки красиво пляшут и кружатся в лучах. Рух медленно облачился – жесткая, засаленная, покрытая соляной коркой ткань царапала кожу. Накинул капюшон.

На улице выводили печальные женские голоса:

И плавала утица по росе,

И плавала серая по росе.
И плакала девица по косе,
И плакала красная по косе.

Ой нетерпеливые. Свадьба в високосный год добра не сулит, жизнь у молодых не заладится. Ну и ладно, стерпится-слюбится. Опыт-то есть. Свадьба эта у него не первая, не вторая и дай бог не последняя. Бог, кхе. Церковь не одобряла таких выкрутасов, но какое дело Руху до Церкви? Святоши не трогали Руха, Рух не трогал святош. Всем хорошо. Тем более вдовцам дозволяется жениться сверх меры. Рух как раз из таких. Из вдовцов.

Из пролома в крыше синеватым потоком лился свет зловеще ухмыляющейся луны. Раньше луна была, а теперь ночное светило Скверней зовется. Мутный, увитый черными прожилками, разбухший уродливыми наростами шар. Три с копейками века назад небо лопнуло, океаны вышли из берегов, треснула земля и снизошла кромешная тьма. Что это было – никто никогда не узнал. Мириады сгнули, выжившие завидовали мертвым, и Скверня отныне висела на поминанием о былом. Предупреждением. И каждый восход нес очередную беду.

Бучила шел запутанным лабиринтом комнат, коридоров и тупиков. Капала вода. Не ахти какое жилище, зато сам себе на уме. И прежний хозяин не против. Умер давно. Дом на Лысой горе шестьсот лет назад заложил колдун-черно-

книжник, пришедший на север откуда-то из-под Киева. По легенде, два яруса и шестиугольная башня выросли за одну ненастную ночь. Вел колдун себя тихо, на глаза не показывался, разбил сады с фонтанами и прыгающими китоврасиками... Ах да, это другая сказка. Свет в черном доме горел ночь напролет: зеленоватый, мигающий, жуткий. Люди рассказывали об ужасном зловонии и душераздирающих воплях. А потом в округе начали пропадать дети. В душах посеялся страх. Мужики собирались угрюмыми кучками, вели долгие разговоры, спорили, точили косы и осиновые колы. Напасть не успели. Замок в одночасье сгорел. Что случилось – никто никогда не узнал. Белую вспышку видели в Новгороде, местный дурачок Ермолка, любивший гулять до рассвета, ослеп, размазав вытекшие глаза по щекам. От нестерпимого жара кипела река, деревья падали и горели на протяжении полуверсты. Стены обрушились, камни оплавилась, песок превратился в стекло. С тех пор черными клыками торчали развалины на вершине холма, зарастая лесом и сорной травой, служа пристанищем для мороков и загубленных душ. Люди обходили руины десятой дорогой, пока в подземелье не вселился Бучила. Проклятия меньше не стало.

Под ногами шелестел ковер сухих листьев, тонких веток и старых костей. Комнаты сменяли друг друга: темные, отсыревшие, стылые. Рух прошел мимо двери в алхимическую лабораторию. Одно время загорелся со скуки, книжек ученых насобирал, инструментами хитроумными обзавелся,

уродами в банках для вдохновения, пару пудов всякой гадости для экспериментов из новгородского университета припер. Золото из куриного дерьма получить не хотел, от многого золота многие беды. Так, для себя кое-что. Сжег пальцы серой, надышался ртути, провонял смрадным дымом и охладел. Мензурки, горелки, перегонные кубы и реторты остались пылиться хоромами для пауков.

Рух вошел в большой круглый зал и замер, почуяв чужой угрожающий взгляд. По спине пробежал холодок. Что-то пряталось за растрескавшимися колоннами в темноте. Ушей коснулось сиплое прерывистое дыхание. Пахнуло мокрой псиной, свернувшейся кровью и разрытой землей. Зверушка домашняя? Вроде не заводил...

– Наше вам, любезный! – миролюбиво поприветствовал Рух, направляясь к месту, где притаился непрошенный гость.

За толстенной, в два обхвата, колонной мелькнула горбатая тень. На мгновение приоткрылись светящиеся, безжизненные, огромные словно блюдца глаза без зрачков. Открылись и схлопнулись. Послышались шлепающие шаги. Гость застеснялся и убежал, оставив после себя едва уловимый аромат стухшего мяса и обрывки воспоминаний. Злых, полных ненависти и лютой тоски. Не дом, а проходной двор. Самое поганое – не ясно, безобидный медвежишка из леса или ломаная, склизкая, белесая тварь, из тех, что выползают из дыр в самых нижних ярусах подземелья. Со времен Пагубы какого только дерьма не развелось. Рух старался не спускаться-

ся в это царство гнили, тлена и ужаса. Бездонные норы уводили в первозданную тьму, и не все из них удалось завалить.

Воздух тянул свежий, напоенный весенними цветами и отголосками далекой грозы. Синее пятно возникло за поворотом. Дюжина выщербленных ступеней поднимались к выходу из огромного склепа. Прежде там были ворота, а теперь – бесформенная, затянута корнями и лозой дыра. Ночь озарялась теплым факельным светом, песенный гул нарастал:

У ворот береза стояла,
Ворота ветками заслоняла,
Туда Марьюшка наша въезжала
И верхушечку березы сломала.
Стой, моя березонька,
Стой, милая, без верху...

Рух выплыл из подземелья, пение резко оборвалось. Ночь уставилась звездами, Скверня укуталась в облака. Дурковатый парень лет двадцати продолжал выделывать ногами кренделя, хлопая в ладоши и припевая:

Живи, мой батюшка,
Теперь без меня!
Хоп-хоп!

На него зашипели, зацыкали:
– Уймись, Прошка!

– Бесово семя!

– Заступа пришел.

Толпа человек в полсотни заполняла поляну перед руинами. Прошка оглянулся, испуганно ойкнул, повел ошалелыми косыми глазами и на четвереньках ускакал за спины односельчан. Жаль прерывать, забавляется человек. В темноте белели рубахи и лица, факелы бросали тусклые отсветы и плевались смолой. За версту разило брагой и медом хмельным. Люди притихли, склонились в поклонах. Руху нравился их благоговейный отчаянный страх. Страх можно было черпать пригоршней из воздуха: сладкий, тревожный, густой. Одеты по-праздничному: рубахи вышитые, новые лапти. У измученных работой и податями крестьян так мало поводов для радости. Один, раз в году, дарит им Рух.

Из толпы вышли трое: седобородые, морщинистые, с клюками в узловатых руках. Старейшины: Аникей, Невзор и Устин.

– Здрав будь, Заступа-батюшка. – Устин, первый среди равных, склонился, мелко дрожа сухонькой головой. Красные глаза слезились. Остальные двое мели бородищами землю. Пощелкивали скрюченные возрастом и болезнями кости.

– Здорово, деды, – милостиво кивнул Рух.

– Хорошо ли спалось, Заступа-батюшка? – Выпрямился Невзор, самый молоденький из старейшин, едва разменявший семьдесят лет. Не просто так спросил, с умыслом. Рух

все для села – надежда и опора, оберег и защита. Оттого и прозвище Заступа ему. Издревле на севере Руси повелось – если хочется жизни спокойной, Заступу найми. Леса кругом и болота, человек тут незванный гость. Ведьмы озоруют – Заступу зовут, мертвяки шалят – Заступу скликают, лешаки дровосеков в чашу не пускают – поможет Заступа. А с тех пор как грянула Пагуба, без Заступы и вовсе никак. Большая беда пришла почти четыреста лет назад. В 1238-м предвестницей близкого светопреставления явилась татарская орда, сметая все на пути, словно прожорливая саранча из библейских преданий. Дело привычное, столетиями Русь оборонялась от степняков, возводила валы, выжигала кочевья дотла. Но в тот раз все было иначе, русские княжества ложились под копыта татарских коней одно за другим, захлебываясь кровью и воем. Устоял только Новгород, Бог, видать, спас. А может, не Бог, кто теперь разберет? Орда разорила Русь и нажравшейся тварью уползла обратно на юг, обложив завоеванное налогом и данью. Казалось, хуже уже быть не могло... Но ночь с пятнадцатого на шестнадцатое августа 1302-го года озарилась слепящей багрово-фиолетовой вспышкой, небо раскололось, обрушились стены городов, церкви и терема. Опустилась кромешная тьма. Утром солнце не встало, Черная Ночь длилась месяц, и под покровом смрадной удушающей темноты пришли твари, исторгнутые самой Преисподней. Мир погрузился в хаос. Огромные волны смывали берега, плавился камень, трескалась и горела земля, целые

страны тонули в крови. Демоны и кошмарные чудища несли опустошение и смерть. Никто не знал, что случилось в тот день, никто не считал погибших, никто не знал, как людям удалось уцелеть. Мутное больное солнце взошло лишь десятого сентября, дав отсчет новому календарю. Поток чудовищ и ссаяк, оставшихся перебили и загнали в леса, пустыни и горы. В кошмарных муках и океанах крови рождался новый мир, старому Пагуба нанесла смертельную рану. Исчезли народы и королевства, стерлись границы, поменялись очертания континентов, тысячи верст были выжжены, усеяны костями и пеплом. Наступил Темный век, век войн, сражений, ереси, всеобщего безумия и бесконечной резни. И длился он ровно 111 лет, пока в 1413-м году на Венском конвенте уцелевшие христианские государства не объединились и не дали отпор нечисти, дикарям, варварам и демонопоклонникам, сталью и огнем установив новый порядок. Заступам в нем выпала особая роль. Власть она далеко, а Заступа вот он, рядышком. Рух Бучила и малая толика подобных ему, взявших под защиту баб, мужиков и детей. Не будет Руха – не будет села, останется гарь да обглоданные нечистью костяки. И плата за это не так велика...

– Спалось хорошо, да мало. – Рух делано зевнул и спросил: – Как перезимовали? Нешто спокойно, раз не тревожили?

– Твоими молитвами, Заступа-батюшка, и Христос нас, горемычных, оберегал. Хлеба в достатке, детки здоровые,

скотий мор стороной обошел. Одна померла коровенка на Рождество – почернели кишки, и зеленая кровь из всех дыр отошла.

– Волчатка?

– Она самая, кормилец, едва успели беду отвести. Как ты и наказывал: отрыли младенчика, помершего без святого причастия, зашили коровке в нутро вместе с живым петухом и сожгли на кострище, пеплом село по кругу обсыпали. Убралась лихоманка проклятая. Повыла за околицей, зубьями поклацала и ушла.

– Заложные себя тихо вели?

– Тихо, батюшка, снегу страсть намело, не выбраться им было до самого Благовещенья. Неделю назад возчики сгнули у Птичьего брода, тел не нашли. А давеча мужики слышали в лесу, возле брода, страшественный вой. То ли зверюга выводит, толь человек.

– Гляну, – благосклонно кивнул Рух. Вот и работа наметилась: раз померли лютой смертью и без похорон правильных, значит, уже поднялись. Помаются, помыкаются, оттаявшую в лесу дохлятину подьедят и куда пойдут? Точно, домой, память сохранившаяся в прогнивших мозгах к ребятишкам и женам потянет. Вот радости будет, как полезут в избы разложенные мертвецы.

– Ты уж сходи, батюшка, посмотри, – заискивающе улыбнулся Аникей. – Наши-то теперь страшатся Птичьим бродом ходить, до Наволока пятнадцать верст крюком дают. Помо-

ги, батюшка. Мы в долгу не останемся.

– А пока вот. – Устин пошамкал беззубым ртом. – У нас товар, у вас купец, стало быть. Прими, Заступа, невестушку, не побрезгуй.

Невзор вытянул из-за спин молоденькую, лет этак шестнадцати, девку в белой рубахе до пят и с венком на голове. Девка оказалась вполне симпатичной, золотоволосой и остроглазой. Худосочной уж только, ни жопы, ни сисек. Рух недовольно скривился:

– Замухрышка какая. Год не кормили? Себе-то пуза наели.

Бучила шагнул к невесте, старейшины попятились, притихшая толпа шархнула, кто-то упал, задрав грязные пятки.

– Ты на внешности, батюшка, не смотри. Зато девица она невинная, аки ярочка, – оправился от страха Аникей.

Рух ухватил «ярочку» за хрупкие плечи. Головка у невесты держалась плохо, клонясь на плечо, тело мягкое и безвольное, огромные голубые глазища заволокла пьяная пелена. На жениха не смотрела, вялая, безразличная, еле живая. Ну точно, только девственницы тут не хватало.

– Разве о девицах был уговор? – строго поинтересовался Бучила. – Ведь знаете, каких я люблю.

Он руками обрисовал нужные формы. Вышло даже пышнее, чем требовалось.

– Надо девицу, – ослом уперся Невзор.

– Истинно так! – Устин ткнул перстом в ночное небо.

– Да с чего бы? – ахнул начавший терять терпение Рух.

– Устинья велела, – нехотя признался Аникей. – Надо, крик, непременно девицу Заступе в невесты отдать, тады рожь взойдет хороша и свиньи трижды опоросятся.

– Ну это, конечно, все меняет. – Рух надрывно вздохнул. Устинья подсуропила. Змеища колодная. Знахарка здешняя: лечит травами скот и людей, гадает девкам на суженых, порчу снимает и сглаз. Слово ее первое в выборе невесты для Руха. Не баба, а в заднице кость. Сам дурак, надо было в договоре невесту тщательно описывать и кровью крепить. – Звать ее как? – Рух обреченно посмотрел на невесту. Ладно, пойдет. Високосный год – он високосный и есть. Добра нечего ждать. Не жили хорошо и не будем.

– Марьюшкой, батюшка, – согнулся в поклоне Невзор. – Сиротка она...

– Без подробностей, приданого тоже не надо. – Рух грубо схватил невесту и потащил домой, богатства смотреть: битые горшки, зеленые кости, выводок жаб да табун пауков. Марьюшкина рука была ледяная и липкая.

– К Птичьему броду завтра схожу, как с супругой натешусь, – обмолвился Бучила через плечо.

Толпа заголосила на разные голоса, бабы заохали, закричали девки.

– Ой, горько мне! Го... – донесся залихватский выкрик неугомонного Прошки и тут же оборвался. В задних рядах

вспыхнула потасовка. Хорошее дело, какая свадьба без драки? Рух мерзостно улыбнулся, рывком перегнул невестушку через руку и впился в плотно сжатые соленые губы. Марюшка слабо затрепыхалась. Толпа огласилась азартными воплями.

– Ох, хороша молодая!

– Не девка – огонь!

– Совет да любовь!

Рух отстранился от манящего упругого тела. Всею свое время.

– Счастья!

– Совет да любовь!

– Погорлопанили и будет. Идите на хер! – Рух переступил границу тьмы с тьмой. Голоса утихали, народ повалил с горки шумной гурьбой. Ночь впереди веселая, пьяная. Заступу женили. Вдали, за Гажьей топью, ветвистые молнии рвали небесные потроха.

Бабья песня доносилась обрывками:

Отставала лебедушка,
Да отставала лебедь белая
Прочь от стада лебединого,
Приставала лебедушка
Да приставала лебедь белая
К черну ворону...

Невеста споткнулась в кромешной темноте, крепче вце-

пилась в руку. Послышался удар, видимо, локтем и сдавленный писк.

– Осторожно, ступеньки, – предупредил Бучила.

– Темно, батюшка.

– Так ночь.

Невеста едва слышно всхлипнула.

– Боишься меня? – спросил Рух.

– Боюсь маненько, – призналась Марьюшка. – Раньше страсть как боялась, а потом дедушка Анисим отвару дал, я успокоилась.

«Добрый дедушка», – хмыкнул про себя Рух, чувствуя на губах вяжущий вкус конопляного масла, спорыньи² и мака. Опоили девку, потому и ноги еле несут. А по-другому невесты к Бучиле не ходят.

– Холодно, – пожаловалась невеста.

– Привыкай, в холоде мясо дольше хранится, будешь вечно молодой и красивой, – невесело отшутился Рух.

Марьюшка рассмеялась, словно бусы на серебряное блюдо просыпала.

– Печку бы затопить.

«Хозяйственная», – умилился Бучила. Разные у него жены были: покорные и вздорные, милые и сварливые, хохотушки и плаксы. Ни с одной не ужился. Может, вот она, та единственная? А если судьба?

² Спорынья – паразитный ядовитый грибок, образующийся в колосе ржи и некоторых других злаков.

В женскую половину он пропустил ее первой, сам следом вошел. Сквозняки дули из переходов и трещин, разбавляя сладковатый дух разложения. Невеста, сама того не желая, прижалась к суженому, ища тепла, но обретая стылость и тлен.

– Где мы, батюшка? Ничего не вижу.

Рух не ответил. Не счел нужным, прекрасно зная, что с такими молоденькими и упругими делают. Беседы закончились.

Он привлек невесту, ощущая прерывистое горячее дыхание, втягивая запах волос и женского пота. Руки коснулись бурно вздымающейся груди с напрягшимися сосками, скользнули ниже. Рух заворчал по-звериному, уже не сдерживая себя, и впился зубами в тонкую шейку. Марьюшка охнула и обмякла, ладошки разжались. Жила лопнула. Рот Бучилы раскрылся в лепестковую пасть, и он принялся жадно лакать горячую кровь. Вкусную, сладкую, пряную. Тепло разливалось по онемевшему мертвому телу. Жены, застывшие вдоль стен огромного зала, смотрели незрячими пустыми глазами, высушенные, заросшие паутиной и плесенью. Выпитые досуха. По одной в год. Сорок да девять, да еще одна. Полста жен упыря Руха Бучилы.

Ванькина любовь

*Обретаюсь ни живой и ни мертвый. Пугало бесприютное,
в Бога плевков. Зрю в грядущее мутным оком. Тьма внутри и
темнота вовне. «Любовь победит», – шепчет голос бесплот-
ный в самое ухо. Гоню его прочь, глумливым смехом давлюсь.
Вместо смеха вырывается плач.*

I

Ванька Шилов боязливо мялся у входа в подземную чернь. Из провала дышал холод, пахнувший смертью и тлением, лез под рубаху, смрадным языком пытаюсь уцепить за лицо. Беда привела Ваньку на Лысую гору к проклятым руинам. А иначе и не ходят сюда. Вчера были у Ваньки невеста, мечты и вера в Господа Бога. Сегодня нет ничего, отняли все, выжгли душу каленым железом, залили в дыру злость, опустошенность и страх.

Прожил Ванька на свете длинную жизнь, целых восемнадцать годов, уродился в отца – крепким, рукастым, светло-волосым. Отец у Ваньки большой человек, не смерд-землепашец, не холоп, а купец. Дело горбом своим поднял, каждую копейку берег, корки плесневелые грыз, а выбился в люди, восковую торговлю завел, всю округу подмял. Сызмальства Ванька при отце по торговым делам: в Новгороде Великом иноземных купцов повидал: горделивых франков и свеев, бухарцев в длинных халатах с диковинными горбатыми лошадьми в поводу; любовался в Москве на белокаменный кремль, волок ушкуи³ на перекатах, бесов лесных серебром отгонял.

Вольная жизнь по сердцу пришлась. И вдруг прикипел. Жила в селе Марьюшка Быкова, станом тонкая, с улыбкой

³ Ушкуи – новгородские плоскодонные речные суда.

застенчивой, синие глазища озорными огнями горят. Занялось от того огня Ванькино сердце, ходил как чумной, забыл о делах. Встречи искал. Улучил время, душу настезь раскрыл. Боялся, откажет. Навеки запомнил Ванька Марьюшкино сосредоточенное молчание и робкое «да». Чуть разума не лишился на радостях, в охапку Марьюшку сгреб. Та завизжала, ладошками в спину затюкала: «Пусти, медведь окаянный, пусти». Ванька остепенился, перестал на гульбище ходить, руки с Марьюшкой не распускал, хотя иной раз и подмывало, гулящих баб-то он рано узнал. А тут как отрезало. Страшился нарушить хрупкую девичью честь, мысли проклятые гнал. Ведь она... она такая... эх.

Велел отцу сватов засылать. Тот ни в какую, дескать, не пара, богатую невесту найдем, есть на примете одна. Пушай не красавица, зато приданого тыща рублей. Чуть не подрался с отцом. Обещался из дому уйти. Сдался отец, единственный Ванька наследник, некому больше торговлю вести. Сестренка младшая – Аннушка – махонькая совсем, а вырастет, легче не станет: баба, какой с нее толк? Позлобничал отец и смирился, к Покрову свадьбу назначили. Хорошо, да больно долго уж ждать. Месяц прошел, а Ванька истосковался, измучился, высох. Уехал в Новгород с обозом. Вернулся, а от надежд пепелище. Без него порядили Марьюшку Заступе отдать, воскресшему мертвяку из проклятых руин. Труп с червями гнилыми вместо души. Обретался упырь при селе боле полвека, добрую службу служил: нечисть лесную отпу-

живал, людей и скотину от мора хранил, редко какому селу или городишку такая удача. За услуги требовал жертву кровавую по весне – девицу красную. Страшная плата, но без Заступы плата страшней. Вот и терпели люди, привыкли, так дедами заведено. Сколько невест Ванька сам проводил? Радовался вместе со всеми, костры палил, брагу в глотку до иступления лил, а теперь коснулось и самого. Да так коснулось, хоть вешайся.

Ванька поморщился. Знатно вчера почудил. Отбить пытался любимую, двоим успел носы на сторонку свернуть, да сзади саданули поленом по голове, очнулся запертым в бане, волосья на затылке в кровавую корку спеклись. Был в оконце, бревна зубьями грыз, дверь ломал, да там и упал, обессиленный. Разрыдался захлеб, слез не стесняясь, представляя, как терзает Марьюшку проклятая тварь. Утром выпустили: притихшего, сомлевшего, мутного. В спину шептали:

– Смирися.

– В покорности легче...

– Кротость пользительна для души.

Как же, смирился. Хер там. Из бани Ванька пошел прямымиками домой, мать не слушал, сестренка отпрянула, обожженная взглядом. Огонь, и прежде горевший в Ваньке, из ласкового и теплого превратился в лютое пламя. От отца отмахнулся. Взял топор и ушел. Не прощался, но и вернуться не обещал. На опушке выбрал осинку, свалил в два удара, выстругал кол. Второй про запас. Обиду и ненависть в

горсть. К отцу Ионе в храм Божий зашел. Меч душевный острить. Трудный был тот разговор, не шутейный. Настоятель не отговаривал, но и лихого дела не одобрял. Предупреждал о последствиях. Для Ваньки, для семьи его, для села, обдумать велел, поостыть. Ванька слушал и кивал, оставаясь глух. «Воды святой дай», – ласково попросил. Иона понял – парня с пути не свернуть, благословил неохотно, налил воды, вот она, в баклажке на поясе булькает. Во всеоружии Ванька к проклятым руинам пришел – колья осиновые, святая вода, на шее низка желтого чеснока. Овощ злодейством великим взял, спер у бабки Матрены, ну ничего, Бог простит, ведь на благие дела.

Воздух из провала вытекал стылый, воняющий мертвечиной и падалью. Страшное таилось внутри. Ни разу Ванька так не боялся за всю свою жизнь, а ведь смельчаком себя почитал. С татями бился; видел, как оживают деревья в болотах, идут, вытягивая корни из глубины; заманивали его мавки, с виду красивые девки, а ниже пояса голый скелет; на спор ходил к старому капищу, где вырастают из земли валуны, испещренные непонятными письменами, красовался силой и удачью, а тут струсил, аж поджилки тряслись. Мыслишки поганые лезли. «Отступись». «Забудь». «Погубишь себя». «Марьюшку не вернуть». Заколебался Ванька. Наплевать на обиду, бросить все и уйти, куда ноги несут. Есть в Новгороде дружки. Податься в ватагу, грабить ливонцев и бусурман, там головушку буйную и сложить...

«Струсил, пес шелудивый?» Ванька встряхнулся, прогоня дурные мысли и холодную дрожь. Закусил губу до крови, защелкал кресалом. В глиняной лампадке заплясал крохотный огонек. Слабый, трепещущий, еле живой. Комар бы у такого согреться не смог.

Вязкая темнота приняла его жадно, укутала смрадным дыханием, пробежала костлявыми пальцами по волосам. Раскрошенные каменные ступени уводили в стылую глубину. Болезненный мох, выросший у входа, остался последней чертой между миром мертвых и миром живых. Ступеньки кончились. Ванька обернулся. Вход подмаргивал бледным пятном, среди шевелящихся корней просматривалось синее небо. Хотелось расплакаться. Лампадка отбрасывала непроглядную чернь на пару шагов, заключая Ваньку в спасительный шар. Масло шкворчало и плевалось, обжигая руку. Он не замечал боли, сердчишко трепыхалось, кровь стучала в висках. Куда идти, Ванька не знал, утешаясь мыслями, что окаянный подвал небось невелик. Ну и просчитался, конечно. Проход раздвоился, разошелся узкими отнорками по сторонам. На пути попадались комнаты: одни пустые, гулкие, другие – заваленные кучами отсыревшего тряпья и сгнившего дерева. Угадывались остатки мебели: длинные лавки, столы, сундуки.

Ванька не удержался, рванул крышку окованного железными прутьями сундука. Слухи про упыри сокровища не на пустом месте поди родились. Скопил, подлюка, за годы,

чахнет над золотом, пьет святую православную кровь. Ванька вурдалака заколет, а сокровища заберет. Сирым и убогим раздаст, церкву построит, остальное пропьет до гроша. Пойдет по Новгородской земле слава о новом богатыре.

В сундуке было пусто. Не дался в руки проклятый клад, слово надо верное знать. Во втором сундуке одиноко догнивала тряпичная кукла, в третьем смердело дохлыми кошками.

Ванька затряс головой, пристыдил сам себя: «Окстись, нешто за богатством пришел?» Коридоры уводили в глубь вурдалачьего логова. Зыбкий, разбавленный, словно молоко водой, дневной свет проникал через проломы и щели, окрашивая тьму мертвенной синевой. Местами потолок и вовсе обрушился, обломки камней громоздились под ногами, мешали идти. Сквозняки несли то потоки свежего весеннего воздуха, то гнилость и прель.

Ванька вывернул за угол и резко остановился, увидев впереди едва заметные отблески. Тусклый огонечек маячил во тьме. Сердце едва не вырвалось из груди, и Ванька спешно прикрыл лампадку рукой. Заметили, нет? Кто-то блуждал в темноте, огонек сместился и поплыл. Ванька крадучись двинулся следом и чуть не упал. Левая нога скользнула по краю, осыпав мелкие камешки. Прыгающий свет лампадки высветил бездонную пропасть. В полу зияла дыра, слышался отдаленный шум текущей воды. Уф, пронесло. Ваньку бросило в жар, он вытер пот с лица рукавом и чертыхнулся. Чужой ого-

нечек пропал, затерялся во тьме. Ванька засуутился, вжался в стену и приставным шагом миновал провал по остатку пола шириною в ладонь. На глубине плеснуло, в воде мелькнула белесая спина с выпирающим позвоночником. Господи, чего только со страху не привидится! Ванька поспешил за огоньком, не забывая подсвечивать под ноги. Очень уж не хотелось брякнуться костями в бездонную пустоту. Тьма сгустилась, стала непроницаемой, липла к лицу, выпускала длинные руки-пальцы, стремясь затушить лампадку. А потом тьма вкрадчиво позвала:

– Ванюша.

У Ваньки волосы поднялись дыбом.

– Ванечка.

Голос смутно знакомый, чарующий, коленки ослабли. Мारюшка?

– Родименький мой.

Ванька дернулся на голос, пьяно шатаясь, голова затуманилась.

– Иди ко мне, Ванечка.

Ванька раскрыл было рот, но опомнился, вспомнил бабки покойной слова: «Ежели кликать будут в месте худом, на погосте иль на перекрестье дорог, отзыватья не вздумай, враз пропадешь».

– Холодно мне, – плаксиво сообщили из темноты.

– На, грейся. – Ванька судорожно перекрестился по сторонам. Манящий голос тут же пропал, обернувшись затиха-

ющим плачем и мерзким смешком.

Ванька выдохнул – пронесло. Завернул за угол и попятился. Чужой огонек помаргивал в паре сажений ⁴, высвечивая темную сторбленную фигуру. От напряжения заломило в висках. Фигура не двигалась. Ванька собрался с духом и шагнул, выставив осиновый кол. Незнакомец шевельнулся и медленно, словно нехотя, обернулся. Крик застрял в высохшей глотке. Ванька увидел себя. Двойник уставился черными дырами, оскалил голые десны, изо рта вместо языка вывалился ком пупырчатых щупалец. Ванька захрипел, отшатнулся, теряя равновесие, отвлекся на миг, а когда поднял глаза, призрак исчез. Проклятое подземелье шутики шутило, или и вправду увидел Ванька себя и суждено ему отныне, до самого Страшного суда, плутать по каменным коридорам среди мрачных теней и неприкаянных душ?

Стены отхлынули, и Ванька вывалился в комнату необъятных размеров. Было сухо и холодно, лучики света косо падали с дырявого потолка. Из сине-серой дымки проступил силуэт, за ним еще и еще, обступая кружком. Ванька шараясь, замахнулся колом, но никто на него не напал. Время застыло, сожрало звуки и свет, только пылинки оседали хлопьями пепла. Статуи? Ванька осторожно подошел к крайнему силуэту и пошатнулся на обмякших ногах. Рубаха прилипла к спине. Прямо у входа безмолвным стражем коченел высохший труп – баба в истлевшей рубахе грубого полот-

⁴ Сажень – русская мера длины, равная 2,13 м.

на. Плесневелая кожа туго обтягивала череп, рот щерился в крике, костлявые руки повисли. Тело было прибито к стене железным гвоздем. Прядки темных волос, накрученные на гвоздики поменьше, удерживали голову.

Ванька оправился от страха, вытянул руку. Труп от легкого касания рассыпался в прах, кости упали к ногам, череп остался висеть, похожий на огромного паука.

«Сколько лет костяку?» – подумалось Ваньке. Рядом с первым, вдоль стены, застыл второй труп, дальше еще и еще. Иссохшие, истончившиеся, окоченевшие. Голые кости, торчащие зубы, жуткие оскалы, пустые глазницы, шершавая кожа, венки из полевых цветов на головах. Десятки трупов окружили Ваньку со всех сторон, не комната – склеп. Друг подле друга, сцепляясь руками, мертвецы вели свой дьявольский хоровод. И тут Ванька, обмирая от ужаса, узнал Василису Пискулину. Поднял лампадку повыше. Ну точно, она. Нос с горбинкой, бровь коромыслом, черная густая коса. Даже после смерти красивая. Мужик у ней в Ливонскую сгинул, осталась одна, хорошая баба, ласковая, парней привечала, и Ванька ходил, чего греха-то таить. Женатые мужики частенько заглядывали, чужая малина слаще всегда. Ну бабы подсуетились, словечко кому надо замолвили. Два лета, как Василису Заступе отдали. Вот, значит, и свиделись... Ванька шарахнулся в сторону, подавляя заячий вопль. Распятая на стене Василиса задергалась, пошла ходуном. Голова с остатками плоти поднялась и раскачивалась, блукая пусты-

ми глазницами, плечи тряслись. Ванька приготовился дать стрекача. В глотке мертвеца шевелилось и чавкало. Из рта вылезла огромная крыса, сверкнула угольями глаз, винтом скользнула по телу и исчезла в темной дыре.

– Гадина! – Ванька поддал ногой, вымещая стыд за нахлынувший страх. Следующую мертвячку тож опознал. Прошлогодняя. Тьфу, слово какое-то мерзкое. Из Новгорода привезли. Сердце предательски екнуло. Если эта в прошлом году, то следующая...

Ванька метнулся дальше, подсветил себе, зашарил рукой по плесневелой стене. От радости замутило. Марьюшки не было. К добру или к худу?

Выход из зала, полного мертвецов, вывел в небольшую, залитую чернотой комнатенку. Тусклые отсветы выхватили признаки обитаемого жилья: вытертый персидский ковер, стол, заваленный книгами и пергаментом, узкое ложе у дальней стены. Сердце остановилось, сжалось до рези и вновь застучало, разгоняя вскипевшую кровь. Думал, в гробу тварь проклятая спит, а он, сука, в кровати. Медвежья шкура, застеленная на ложе, дыбилась высоким горбом. Сейчас я тебя! Ванька вытер вспотевшие ладони и поудобнее перехватил осиновый кол. Шаг, второй, не чувствуя ног. От напряжения ломило в груди. Еще шаг.

– Наверняка бей, – отечески посоветовал скрипучий голос из темноты. Откуда-то слева выплыла лысая шишковатая голова и страшная харя: трупно-серая, костлявая, пронизанная

вздутыми черными жилами. Тонкие, сложенные в паскудной ухмылочке губы задули огонь, и снизошел зловонный ужа-сающий мрак. Ванька истошно завыл.

II

Придурка с заточенной деревяшкой вурдалак Рух Бучила почуял, еще когда тот топтался на входе. И мысли не надо читать. Явился по его, Руха, грешную душу, злодей. Вот она, судьбинушка горькая, живешь, никого не трогаешь, людишек оберегаешь, а каждый валенок норовит палку меж ребров всучить. Благодарность, мать ее так. Оттого все меньше на свете Заступ, а как переведется последний, тут и миру конец. Раньше Бучила ждал смерти, избавленья искал. Только старые охотники вывелись, а новые так и не родились. Не дождался Рух, отмучился, пообвык. А тут на тебе, здрасте...

Парень долго собирался с духом, страхом и ненавистью смердел. Решился. Полез без спросу, потревожил соседей, рылся в вещах, жен ворошил. Ни почета, ни уважения. Словно в хлеву родился. Хотел Бучила дурную башку оторвать, на полку любоваться поставить, а передумал. Чай не изверг какой.

В опочивальню богатырь проник, по его меркам, бесшумно, крался к ложу, недоброе замышлял. Рух долгое время наблюдал за пришельцем, прекрасно видя во тьме. Решил помочь, по доброте своей неизбывной. Крика такого не слышал давно. Так кричат, ежели нутрянку клещами раскаленными рвут. Свет потух, лампадка брякнулась об пол, разлетелась на сотню кусков. Масло теперь оттирать...

Крик оборвался, и Рух едва успел отскочить. Быстро оправился, лиходей. Парень закрутился на месте, слепо разя во все стороны острым колом.

– Ты чего? – подавился Рух нехорошим смешком.

В ответ – сдавленная брань и удар на голос. Кол со свистом рассек темноту. Ух какой. Бучила мог закончить дело мгновенно, но предпочел поиграть. Отпрыгнул к выходу и поманил:

– Эй, а ну догоняй.

Парень дернулся следом, налетел на лавку и едва не упал. Прыткий, гаденыш.

– Под ноги смотри, расшибесси, – посочувствовал Рух, спиной шагнув в женскую половину, на зыбкий свет, едва пробивающий плотную темноту. Тут у охотничка будет шанс. Честность и благородство – главные добродетели Руха Бучилы. За то и страдает всегда.

Супротивник выскочил следом, бросился к Руху, целя в лицо. Бучила легко уклонился и саданул поганца под дых. Парень охнул, сложился напополам, упал на колени и шумно проблевался. Такие нынче богатыри...

Рух закатил глаза. Женская половина – святая святых – безнадежно осквернена. Мордой, как котенка, надо бы навозить! Вурдалак молниеносно подскочил, вырвал кол и зашвырнул в темноту, добавив гостью ногой по лицу.

Надо отдать должное, парень не сдался. Подорвался, пуская слюни и кровь, бросился с голыми руками на упыря. За-

орал неразборчиво, поминая чью-то несчастную мать и срывая с шеи чеснок. Рух пригнулся, овощи пролетели над головой. Какой идиот выдумал бороться с вурдалаками чесноком? Сами упыри эту байку и распустили. Приятно, когда не знают твоих слабых сторон.

Забава быстро наскучила, и Рух ударил гостя в середину груди. Парень словно напоролся на стену, всхрипнул заганной лошадью и упал. Только ножки задергались, взрывающая мягкую пыль.

– Достаточно? – миролюбиво поинтересовался Бучила.

– Ты... ты... – Парень заворочался, поднялся на четвереньки, пуская ртом багровую жижу. – Я... я тебя...

– Чего ты меня? Залижешь до смерти, слюнявый щенок?

– С-сука...

– Сам дурак. Чего бросаешься? Бешеный?

– Невесту забрал...

– Кто?

– Ты. Марьюшку мою украл. – Гость плюхнулся на задницу, в драку больше не лез. Не такой дурак, каким кажется.

– Не украл, а отдал по уговору, не тобой заведенному, – напомнил Бучила.

– На хер такой уговор. – Парень вытерся рукавом, в челюсти шелкнуло.

– Поговорим?

– Не о чем нам с тобой говорить.

– Звать тебя как?

– Ванькой.

– А я Рух. Рух Бучила.

– Херчила.

– Фу, грубиян. За невестой пришел?

– Ну.

– А спросить гордость не позволяет? Убивать зачем? Грех.

– Упыря не грех. Дело богоугодное, – буркнул Ванька, кося глазами в поисках чего бы потяжелей.

– Где сказано? – удивился Бучила. – Я в богословии наторел, Святое Писание изучил. Нигде про вурдалаков не упомянуто. Наоборот, писано – все дети божии. Вот и я дите.

– Отец Иона другое говорит.

– Пророк-то ваш доморощенный? У него язык – помело. Имел с ним беседу, доводы приводил, примеры исторические, Евангелие цитировал – как об стенку горох. Фанатик.

– Иона отговаривал тебя убивать.

– Большого ума человек!

– Я не послушал.

– И здорово преуспел?

– Преуспею ишшо. – Ванька глянул с вызовом. – Чего уставился? Давай пей кровушку. Твоя взяла.

– Не хочу, – признался Бучила. – Спасибочки, сыт. Не надо делать из меня чудище.

– А кто же ты есть?

– Вполне разумное, легко ранимое существо. На тебя обиду не затаил, молодой ты, а может, и просто дурак. Был бы

умным, гостем зашел, поговорить да чашу хмельную распить, Марьюшку свою бы забрал.

– А ты бы и отдал? – насторожился Ванька.

– Смотря как попросить, – хитро прищурился Рух.

– Никак живая она? – вскинулся женишок.

– Живая. Ты ведь всех моих жен посмотрел, – уличил Бучила.

– Отдай невесту, Заступа, Христом Богом прошу. – Ванька бухнулся на колени и пополз к упырю. Уголек надежды разгорелся жарким огнем. – Все для тебя сделаю.

– Ну буде, буде. – Рух отстранился. – Мне много не надо, мы люди негордые. Пойдешь туда, не знаю куда, принесешь то, не знаю что, и невеста твоя. Плевое дело.

– Заступа-батюшка... – поперхнулся жених.

– Ну шутковал, шутковал, – не стал терзать Ваньку Рух и серьезно спросил: – Любишь ее?

– Пуще жизни, батюшка. – Ванька клятвенно перекрестился, втайне надеясь, что при виде крестного знамения сдохнет адская тварь.

– Понятно, без любви сюда б не пришел. Ну так забирай, для хорошего человека бабы не жалко. – Рух повысил голос: – Марья! Подь-ка сюда!

Ванька часто, с присвистом задышал. Из темнотищи медленно выплыла белая, похожая на призрака тень. Марьюшка ненаглядная. Живая! Бледная, осунувшаяся, с растрепанными волосами и робкой печальной улыбкой.

– Родненькая! – Ванька бросился невесте на шею.

– Тихо-тихо, – остановил Бучила. – Эко прыткий какой. Бабу будем делить. Ты к себе зови, я к себе кликать начну, к кому пойдет, того и жена.

Ванька напрягся, сжал кулаки.

– Да ладно, вдругорядь пошутил, – успокоил Бучила. – Прямо несет чегой-то с утра, удержу нет. – И строго спросил у Марьюшки: – Ну а ты, лебедушка, любишь жениха, или неволит ирод тебя?

– Люблю, батюшка. – Марья опустила глаза.

– Все честь по чести. – Рух виновато развел руками и сказал Ваньке: – Прости, должен удостовериться был. Чай не чужая, душой прикипел.

– За ночь?

– Иная ночь целой жизни длинней. – Бучила многозначительно подмигнул. – Ладно, проваливайте.

– Батюшка... – ахнул Ванька.

– Ступай-ступай, – отмахнулся Бучила, опомнился, придержал Ваньку и шепнул на ухо: – Ты это, не серчай, ежели что, не девица она больше. Такие дела.

– Да ничего, – невпопад отозвался Ванька, голова была занята совершенно другим. – Благодарствую.

– За что? – растерялся Бучила.

– За все. – Ванька взял Марьюшку за руку. Она прижалась к нему, родная, манящая, желанная. Они поклонились Заступе в пояс и пошли в сторону выхода.

– Эй! – окликнул Бучила. – Хорошенько подумай! Назад не приму!

Ванька не обернулся.

Рух стоял и пристально смотрел им вослед. Не бывает любви? А что это тогда? Любовь или победит, или раздавит, третьего не дано. С невестой он расстался без сожалений, легко пришла, легко ушла, будут еще. Но дело нечистое. Впервые девку на выданье отдали, да при живом женихе. Обычно как? Собирают Заступин мыт⁵, со двора по копейке, покупают рабу, Бучиле и отдают. Тайну блюдут, думают, не знает он, мол, обставили дурака. А Руху все едино, лишь бы свадьба была. Из своих, нелюдовских, если и отдают, то редко, которых не жалко. Странно. Очень странно. А странности Бучила ух как любил...

⁵ *Мыт* – пошлина.

III

Тьма нехотя разжала липкие пальцы, солнце нестерпимо резануло глаза, Ванька мешком повалился в траву. Его трясло. Леденящий холод, зачерпнутый в подземелье, не хотел уходить, свив зловонное гнездо где-то под ребрами. Пахло нагретой землей, свистели пичуги, и небо было синее-синее. Ванька перевернулся на спину, широко раскинув ослабевшие руки. Господи, живой. И невесту выручил! Мог ли о таком еще утром мечтать? По чести – боялся наружу идти, думал, мороком окажется Марьюшка, насмешкой упырьей, развеется туманом, увидев солнечный свет. Обошлось.

Марьюшка присела рядом, робкая, бледная, милая. Босые ножки изодраны в кровь, на лодыжках расползлись ссадины и синяки. Изменилась за ночь: осунулась, похудела, под глазами залегли черные тени, золотые волосы поблекли, утратили цвет. Только улыбка прежняя, родная и теплая.

– Думала, свету белого не увижу. – Марья тихонечко положила голову Ваньке на грудь. Он осторожно, боясь развеять тихое счастье, коснулся пальцами сухих ломких волос. Хотелось одного – лежать рядом целую вечность, наслаждаясь уединением и тишиной.

– Куда мы теперь, родименький? – спросила Марьюшка.

– У меня поживешь. – Ванька все уже твердо решил. – Осени ждать не будем, свадьбу сыграем в ближайшее время. А

там как Бог даст.

– Ванечка, – прошептала Марьюшка, прижимаясь всем телом. Коса упала, приоткрыв на шее синюшный кровоподтек с двумя дырочками посередине, затянутыми спекшейся коркой. Ваньку передернуло. Какая сволочь этот Заступа. Сколько душ перевел? Польза от него есть, но какая цена? Ладно Марьюшку вырвал... Ага, вырвал, стыдища какая, навалял нечистый тебе. Как уляжется, сразу в Новгород ехать, патриарху Иллариону в ноги упасть. Владыка верой тверд, нечисть велит огнем выжигать. Покается ему Ванька, обскажет, как упырь село подчинил. Не оставит патриарх паству в беде, пришлет молодцов в черных одеждах с белым крестом. Вдругорядь посчитаемся!

В глотку словно набили сухого песка. Ванька встал на нетвердые ноги, сорвал баклажку и долго пил, отфыркиваясь и проливая на грудь. В башке прояснилось. Он подавился, вдруг вспомнив, что в посудине святая вода. Ну и дурак. Кто ж воду святую так хлещет? Как с вурдалаком дрался, забыл о воде, а она, глядишь бы, и помогла. Да чего уж теперь...

– Идем. – Он крепко сжал Марьюшкину ладонь.

– Ночи б дожждаться. – Она испуганно сжалась. – Люди там, боюся я их.

– Куриным дерьмом пусть подавятся, – напыжился Ванька и притопнул ногой. – Мы худого не делали. Идем.

Марьюшка посмотрела доверчиво, Ванька через ладонь слышал дикий стук маленького сердечка. Тропка бежала с

холма, прочь от страшных руин, ласково нашептывал березняк, пронизанный солнцем, высоко в поднебесье завис крохотный жаворонок, напевая победно и радостно. Какое дело Ваньке до людей? Упыря не спужался, и тут честь не уронит.

Решимость иссякла при виде зачерневших среди молоденькой зелени крыш. Вот и село. Век бы его не видеть. Отец не обрадуется, матушка плакать удумает. Сукина жизнь. Тропа вильнула собачьим хвостом, выводя на околицу. Нелюдово – село большое, зажиточное, вольготно раскинувшееся на торговом тракте из Новгорода Великого в Тверь и далее на Москву. Не одну сотню лет стоит село на берегу медлительной Мсты, что катит черные воды сквозь непроходимые дебри, мимо разрушенных языческих капищ и могильных курганов до самого Словенского моря – озера Ильмень. Издревле звалось село Нелюдова Гарь. Во времена светлого князя Ярослава поселился на реке странный человек Нелюд, откуда пришел и что за душою принес, никто никогда не узнал. Людей сторонился, жил бобылем, поставил избушку. Нечисть чащобная Нелюда не трогала. Выжег поле, высеял рожь. Была просто Гарь, стала Нелюдова Гарь. Привел жену, в соседних деревнях не сватался. Люди говорили – лесную мавку замуж принял. Детишки пошли диковатые, черноглазые, с волосами цвета сохлого мха. Росло Нелюдово племя, лес выгорал десятинами, была одна изба, стало полдюжины. Завистники из соседней Помиловки зубоскалили, дескать с дочерьми Нелюд грешил, бесов тешил.

А может, и правда был колдуном, кто теперь знает? Обронил Нелюд семя в благодатную почву. Малый хуторок вырос в большое село, славное купцами, волокушами, бондарями и промысловиками. Уходили из Нелюдова молодцы в Пермь и за Камень, в ратях бились с рыцарями на Чудском озере и при Раковоре, душегубничал в окрестностях тать и разбойник Абаш Берендей, уйму кладов на древних погостах зарыл. Княжеские усобицы и злые язычники-татары обошли Нелюдово стороной, владычный Новгород податями не донимал, торговля шла бойко, и беспокоила нелюдинцев только крепнущая, разбухающая под боком Москва.

Тропка влилась в накатанный тракт. Околичные дома поставлены кругом, меж ними высокий тын и дозорные башни. Двое крепких ворот. Село с наскоку не взять, пробовали лихие люди – кровью умылись. Ванька все ходы и выходы знал, мог ворота и миновать, да не схотел. Негоже в село воровскими стежками лезть. От чужих глаз все равно не укроешься. На Тверских воротах сторожами Истома Облязов и Васька Щербанов, Ванька еще с утра подсмотрел. Старик Облязов черной вороной горбился в открытых воротах, опираясь на рогатину с толстым захватанным древком. Васьки, старого Ванькиного приятеля, не видать, дрыхнет поди. Ну точно, вон и лапти из копны торчат. Ванька крепче сжал Марьюшкину ладонь. К воротному столбу была приколочена башка кикиморы, просмоленная, высушенная на солнце, до сих пор внушающая ужас, покрытая наростами и бахромой

коротких щупалец, с пастью, полной кривых желтых клыков. Рядышком, насаженные на колья, пялились пустыми глазницами на прохожих уродливые головы трясцов, глушовцев и дремодарей. На самих воротах красовался вычурный, затейливо изогнутый хищный змий в форме буквы «З» – знак Заступы Руха Бучилы, чтоб его, проклятого, Пагуба взяла.

Облязов подслеповато щурился, сияясь рассмотреть появившихся на дороге людей. И разглядел. Сторож неожиданно проворно скакнул к куче сена и отвесил спящему тумака. Лапти дернулись, послышалось сдавленное мычание. Из вороха поднялась исключенная голова с одутловатым, отекившим лицом и дурными глазами, грязная рука инстинктивно искала задевавшийся куда-то топор.

– Ты чего, дядька Ис... – заканючил Васька и застыл с открывшимся ртом.

Ванька с Марьюшкой вошли в родное село. Преград им никто не чинил. Старик Истома надсадно пыхтел, Васька слюни пускал, не вполне понимая, проснулся он или видит затейливый сон.

– Здорово, Василий, – поприветствовал Ванька друга.

Васька неразборчиво булькнул в ответ, глаза полезли на лоб. Ванька распинал лезущих под ноги кур и горделиво вступил на кривоватую, в ямах и выбоинах улицу. Кое-где из непросыхающей грязи дыбились остатки бревенчатой мостовой. В месиве вальяжно похрюкивали толстые порося. За заборами рвались остервеневшие псы. Идущая навстречу де-

белая баба с коромыслом на могучих плечах остановилась и обмерла, переводя испуганный взгляд с Ваньки на Марьюшку. В деревянных ведрах плескалась вода. «Примета хорошая», – подумалось Ваньке. Хотелось в тот момент верить в хорошее. До жути хотелось, до рези под сердцем. Баба развернулась и пошла обратно к колодцу, словно забыла чего. Ускорила шаг, бросила коромысло и, подобрав юбки, побежала по улице, истошно вопя:

– Убил! Заступу убил! Убил!

Белые лодыжки мелькали с ужасающей быстротой. Ванька поморщился. Началось. Ну что за народ? Чертова дура, клятое помело.

– Ой, что теперь будет, Ванюша, – испуганно выдохнула Марьюшка.

– Не бойсь, за мною не пропадешь, – сам не очень-то веря, отозвался Иван. – От упыря утекли, а эти мне что? Тьфу.

– Люди страшнее. – Марьюшка прижалась к нему.

– Ничего, – раздухарился Ванька, почувствовав себя сильным и нужным. – Пусть ужо сунутся!

Хлопали калитки, люди отрывались от работы, бросали дела. Недоумение на лицах сменялось страхом и непониманием. Не бывало в Нелюдове, чтобы Заступина невеста вернулась живой. Слышался сдавленный злой шепоток. Народ шел следом, толпа росла, разбухая как паводок, впитывая новые и новые ручейки. Разом заголосили бабы, заплакал ребенок.

Ванька шел к дому, втянув голову в плечи, стараясь не зыркать по сторонам, не встречаться глазами. Объяснять бесполезно, сделаешь хуже. Толпа не послушает, она жаждет одного – рвать и кромсать. Дурная весть про убийство Заступы вихрем облетела село. Теперь доказывай не доказывай, все едино. Здесь, в Новгородчине, убить Заступу – самый великий грех. Село без защитника обречено. Ванька видел знакомые лица, искаженные масками страха и ненависти. Перекошенные рты, пена, оскаленные зубы, колы и палки в руках.

– Иуда, – упало проклятие в спину.

– Убивец.

– Всех нас убил!

– На бабу сменял.

Толпа сомкнулась.

Ванька остановился, набрал в грудь воздуха и громко сказал:

– Люди добрые, не велите казнить, ве...

Первый камень шмякнулся в грязь, второй попал Ваньке в лопатку. Он качнулся, зашипел от боли, но не упал. Следующий камень угодил повыше виска, оставив глубокую сечку. Ванька заурчал по-звериному, подгреб Марьюшку, закрывая собой. В голове помутилось, ноги налились слабостью, клоч сорванной кожи лез на глаза, сочась липкой обжигающей кровью. Мысли смешались.

Накатилось смрадное, визгливое, многоголосое сборище.

Удар поперек хребта бросил Ваньку на колени в жидкую навозную грязь. Ну вот и все. Добыл невесту, дурак? Руки поймали пустоту. Марья пропала, непостижимым образом вывернувшись из-под него. И тут же общий гомон прорезал звенящий надрывистый крик:

– Не трожьте его! Не трожьте!

Ванька поднял залитые кровью глаза. Марьюшка стояла над ним, одна против всех, похожая на маленького боевитого петушка с зажатым в ладошке клоком жидких волос. Прочь от нее отползал на заднице старик Толопыгин, выронив палку. Бороденка старика на левой щеке была выдрана с мясом. Толпа подалась назад. От Марьи Быковой, девки тишайшей и доброй, никто такого не ожидал.

– Сволочи! – исступленно крикнула Марьюшка. – Стаей слабого рвать! Ненавижу! Всегда ненавидела! Будьте вы прокляты! Жив Заступа! Ванечка выручать меня пришел, а Заступа, добрая душа, взял меня и отдал!

Людишки притихли, запереглядывались.

– Сходите проверьте! – Марья притопнула ногой, указав в сторону Лысой горы, склонилась к Ваньке. – Пойдем, Ванечка, не тронут они.

Ванька поднялся со стоном, в спине мокро шелкнуло, никак ребра сломали, диаволы. Он стоял и смотрел на Марьюшку: смелую, сильную, неустрашимую. Глазам не верил. Она ли робела, боясь за полночь на свиданки к старым ивам ходить? Чудеса!

Марья шагнула, толпа дрогнула, отхлынула, давая проход. Она пошла первой, ступая словно лебедушка, горделиво неся голову на тоненькой шейке. Девка, не убоившаяся разъяренной толпы. Красавица, защитница. Ванькина невеста. Он выпрямился, скалясь страшно и вызывающе, пихнул крайнего мужичонку плечом. Их не преследовали, не забрасывали камнями, не проклинали, поверив на слово Марье, невесту каким образом вырвавшейся из лап упыря.

Ванька вздохнул с облегчением, увидев родные ворота. Дома и стены помогут. Сердце предательски екнуло. Чем встретят? Пока не зайдешь, не узнаешь. Калитка открылась бесшумно, сам недавно петли салом натер, чтоб на гулянки шастать ночные. Двор чисто выметен, ни соринки, ни пылинки, матушка блюдет чистоту. Изба – пятистенок, крытая тесом, в окружении подклетей, амбаров и сараев, с резными конями на крыше и высоким крыльцом. Большой дом для счастливой семьи. Так думалось. Теперь как Бог даст...

Из-под забора с рыком выкатился огромный взлохмаченный пес. Клацнули в жутком оскале длинные зубы.

– Ай! – Марьюшка испуганно вскрикнула.

– Тю, проклятый! – замахнулся Ванька. – Никак не узнал?

Огромный дымчатый, усеянный репьями кобель натянул звенящую цепь, брызжа с клыков пенисто-желтой слюной. Уши прижались к башке, шерсть вздыбилась, бока пошли ходуном. Ванька отпрянул – зубы шелкнули возле ноги.

– Тише, – ласково сказала Марьюшка и протянула ладонь.

Грозное рычание оборвалось, пес понюхал пальцы и протяжно, умоляюще заскулил, пушистый хвост обвис между лап. В следующее мгновение кобель прижался к земле и резко поддался вперед, целя в горло.

– Хватит, Серко! – Подбежавшая фигурка упала собаке на спину, не дала сделать последний прыжок. – А ну, пошел! Кому говорю!

Серко зазвенел цепью, скрылся в конуре. Перед ними осталась краснощекая девочка в синем сарафане и белом платке. Улыбчивая, крохотная, с веселыми глазами и конопатым лицом. Аннушка. Ванькина семилетняя сестра.

– Я переживала, – насупилась она. – Куда ушел? Теперь-то понятно!

Она бросилась, обняла обоих, завсхлипывала:

– А я... а ты... А батюшка злой. Грит, пуцай не вертается... А матушка плакала... А я ей говорю: «Не реви...» Дурак, дурацкий дурак!

– Прости, Анька. – Ванька подхватил сестру на руки, чмокнул в нос.

– Фу, не слюнявь. – Аннушка прижалась брату к груди, нашарила и притянула Марьюшку. – Ой, как я рада...

С крылечка вальяжно спустился пушистый, черный с белой мордочкой кот Васька, первейший Аннушкин друг и любимец. Притащила она год назад крохотного, задрипанного, еле живого котенка. Под забором в крапиве нашла. Задние лапки от голода отнялись. Ванька хотел из жалости утопить.

Аннушка не позволила, выходила, отпоила козьим молоком, отогрела в постели. Превратился доходяга в красавенного, игривого, знающего себе цену кота.

На пороге появилась мать. Охнула, привалилась к стене, рот прикрыла рукой. Глаза на мокром месте. Не чаяла сына увидеть. Ванька виновато улыбнулся. Мать сделала шаг, собираясь броситься к ним, и замерла. Из дома вышел отец. Угрюмый, нечесаный. Брагой пахнуло аж до ворот. Плохо дело, запил купец. Ванька приготовился к худшему. По пьяному делу отец дурным становится, может и зашибить. Сколько крови мамке попортил? Через это рано и постарела. Су-ров Тимофей, нравом крут.

Отец недобро глянул из-под лохматых бровей.

– Явился?

– Явился. – Ванька глаз не отвел. Хватит, вырос уже. На силу другую силу найдем.

– И эту привел? – Мутный взгляд задержался на Марье.

– Привел!

Отец смерил тяжелым, налитым злобой взглядом.

– Ну-ну. – Сплюнул, попав на бороду, и, пошатываясь, убрался в избу. Внутри что-то обрушилось, зазвенело, пока-тилось, зазвякало.

– Уф, – фыркнула Аннушка. – Как же я испужалась! Батюшка тебя прибить обещал!

– А ты и рада, лиса, – уличил сестренку Иван.

– Скажешь тоже. – Аннушка прижалась тесней. – А вы

насовсем?

– Насовсем. Свадьбу сыграем.

– Только о свадьбах и думаете! Вправду Заступу убил?

– Нет, – качнул Ванька башкой. – Поговорили с ним, всего и делов.

– Ох и смелый ты, Ванька.

Кот настойчиво мявкнул, призывая хозяйку.

– Уж какой есть.

Ванька поставил сестру на землю, к матери подошел. Евдокия сидела на крыльце, привалившись спиной к прогретым солнышком бревнам; в морщинках, собравшихся во-круг глаз, блестели слезинки.

– Все хорошо будет, матушка, вот увидишь, – улыбнулся Ванька, понимая, что говорит не то и не так.

– Дай Бог, – Евдокия улыбнулась слабо и вымученно. – Веди невесту, сынок.

– Матушка! – Марья упала к ее ногам и принялась целовать натруженные, перевитые синими жилами руки. – Матушка.

– Была одна дочка, теперь будет две, дожила на старости лет. – Евдокия коснулась Марьюшкиных волос. – Ступайте в избу. А я маненечко посижу отдохну. Сердце жмет. Сейчас вечерять соберу.

Ванька привел невесту в горницу. Шиловы жили богато. Изба большая, просторная, не чета бедноте, ютящейся вповалку и старый и малый. У Ваньки горенка, у Аннушки с

Васькой горенка, у матери с отцом опочивальня, просторная обеденная, где отец и торговые дела вершит, гостей принимает, да для челяди закутки – девки Малашки и долговязого Глебки.

Сели к оконцу, рядышком, и долго молчали, боясь порушить сплотившую их близость. Думали каждый о своем и об одном одновременно. Солнце садилось, затихало село, мычали коровы, щелкал кнут пастуха. В доме слышался неразборчивый голос отца и тяжелые, постепенно затихающие шаги. В дверь тихонечко поскреблись.

– Вань, а Вань.

– Ну чего, пострела?

В горенку просочилась Аннушка. Васька маячил за порогом, внутрь не пошел.

– На вот. – Сестренка подала ледяную глиняную крынку и кусок чего-то теплого, обернутого чистой тряпицей. – Поисть принесла. Батюшка дюже злой, вас кормить запретил, а я в чулан прокралась и стащила.

– Мамка дала?

– Ага. – Аннушка рассмеялась и широко зевнула. – Ну, я побегу.

– Беги. – Ванька проводил сестру взглядом. В двери мелькнул черный хвост.

Только тут Ванька понял, насколько оголодал. В тряпице оказался пирог с грибами, в крынке – жирное молоко. Накинулся жадно и торопливо, отфыркиваясь и ухая. Марьюшка

ела вяло, пощипала пирог, едва пригубив молоко.

– Не ндравится мамкина стряпня? – обиделся Ванька.

– Что ты, Ванечка, Бог с тобой! – всполошилась Марьюшка. – Не хочется, кусок в горло не лезет. Мне много не надо, сытая я. Ты кушай, вон какой большой у меня. И сильный.

– Я такой! – Ванька напыжился, собрал крошки в ладонь, закинул в рот, допил молоко, вытер белые усы.

Марьюшка смотрела сквозь слезы, улыбнулась невесело и тихо сказала:

– Ты прогони меня, Ванечка, беда одна от меня. А тебе жить надо.

Словно ножом Ваньку пырнули, поник он, понурился, навалился грудью на стол, захрипел:

– Дура ты, Марья, дура как есть! Я за тебя... я за тебя! Эх! Дура!

– Ты ругай меня, Ванечка, ругай. – Марья бросилась на шею, придушила жарким объятием. Теплая, родная, милая. – Люблю я тебя, больше жизни люблю! Век благодарна...

– Ну буде, буде, – опешил Ванька, отстранил невесту и встал.

– Куда ты? – испугалась Марьюшка.

– Спать. Ты тут, а я на сеновал.

– Не бросай меня, родненький, не хочу я одна.

– Люди чего подумают? – Ваньке пуще всего хотелось остаться.

– Теперь не все ли равно?

– Не все! – отрезал Ванька. – По-хорошему у нас будет, Марья, по-божески. Спи. Завтрева свидимся.

Марьюшка словно еще меньше стала, сжалась в комок. Ванька поцеловал ее в лоб, закрыл дверь, постоял, переводя дух, и вышел из притихшей избы. Стемнело, на небе народились первые звезды, ветерок дул прохладный и ласковый, как Марьюшкино дыхание. Он забрался на сеновал, расстелил одеяло и лег, рассматривая узор на досках и осиные гнезда под потолком. День выдался тяжелый и длинный. Упырь Рух Бучила и подземные ужасы казались теперь далеким сном. Звезды вызрели и сверкали серебряной россыпью, клочьями ползли подсвеченные Скверней сизые облака. В Гиблом лесу были волки. Зловеще хохотал козодой. Заскрипела лестница, и Ваньке показалось, что на сеновал проник дикий зверь. Узкая сильная ладошка зажала рот. Запахло весенним лугом и молоком с легким, едва уловимым послевкусием свежей земли. Марьюшка. Она стянула рубаху, обнажив небольшую упругую грудь. Рука отнялась от лица, и он почувствовал вкус ее мягких обжигающих губ...

IV

Аникей Басов, первый из старейшин Нелюдова, проснулся среди ночи в липком поту. Еще не придя в себя, истово закрестился на огонек лампадки в красном углу. Уф, спаси Господи, и помилуй. Приснилось Аникею, будто шлепает он в темнотище кромешной, сам не знамо куда, выставив руки наперед, как слепец. А из темноты кличут по имени, манят. Ласковым таким шепотком. Аникей спешит на зов, не может противиться и неожиданно проваливается в черную яму. Шмякнулся об донышко и проснулся, растудить твою душу...

– Ты чего всполошился, хер старый? – прошамкала с печки жена, бабка Матрена. Ишь, услышала, чума. Заноза в заднице, а не старуха, диавол в юбке, Аникеево наказание за грехи.

– До ветру, Матренушка, захотел, – угодливо отозвался Аникей. За годы сумел примириться с бабкиным нравом. Без Матрены Аникею так бы высоко ни в жисть не взлететь. Без приданого и нужных знакомств покойного тестя Григория Полосухина. Всем обязан ей Аникей, оттого и терпел.

– Так иди, чего стонешь?

– Иду, Матренушка, иду! – Аникей заспешил к выходу на сведенных костной хворью ногах. До ветру ему и вправду хотелось. Аж резало низ живота.

– В корыто не напусти! – пригрозила Матрена. – Живо бороденку оттяпаю.

Аникей удрученно вздохнул. Гадина старая, как есть сатана. За печкой похрапывала работница Глашка. Помогала по хозяйству дьяволу в юбке: воду таскала, за скотиной следила, мыла полы. Ладная баба, молодая, задницей угол заденет – весь дом задрожит. Сиськи из рубахи вываливаются, сами в руки хотят. И с Аникеем ласковая, дедушкой кличет. Эх, шас бы к ней под бочок... Из-за занавески доносилось размеренное дыхание и пахло потным разгоряченным женским телом.

Аникей с трудом оторвался от щели, вышел в сенцы. Ага, под бочок. Матрена ухватом по темени ударит – забудешь, чем баба отлична от мужика. Улица встретила прохладой и темнотой. В хлеву шумно возилась свинья. Аникей заспешил через двор, зябко поджимая босые ноги. По-весеннему ледяная земля кусала за пятки. Отлить хотелось так, что не было терпезу. Проклятая баба! Старческие пальцы лихорадочно потеребили завязки подштанников и затянули узел еще крепче. Холера те в бок! Увлечшись, не заметил, как от ворот отделилась черная зыбкая тень и поплыла прямо к нему. Аникей приплясывал и ругался сквозь зубы, пытаясь сладить с тесьмой. На глаза навернулась слеза. Тень приблизилась, и участливый голос спросил:

– Помочь, Аникей?

Помогать нужды уже не было, старейшина Аникей Ба-

сов, большой по нелюдовским меркам человек, опорожнился прямо в портки.

– Ну тише, тише, не верещи, – попросил Рух, глумливо посмеиваясь про себя. Знатно пуганул Аникея, спасибо не помер. И ведь не хотел пугать, так получилось, слишком долго ждать деда пришлось. Старикам пока в голову влезешь и дозовешься – наплачешься. А дело-то спешное.

– Ты? – Аникей выпучил глаза.

– Ну я, а ты кого ждал?

– Н-никого. Ну и сволочь ты, Заступа.

– Не лайся.

– Я в штаны напрудил!

– Новые принести? Я мигом, только скажи.

Аникей заохал, держась за промежность. Надрывно вздохнул и спросил:

– Чего тебе?

– Проведать зашел.

– Ага, поверил я. Чего надо?

– Слыхал поди, невесту-то у меня Ванька-постреленок отбил.

– Слыхал. – Аникей скорчил рожу. – Они как приперлись, ахнули все. Такой переполох поднялся, упаси Бог. Думали, пристукнул Ванька тебя.

– Пытался, чутка не хватило.

– А фурия эта, Марья, как с цепи сорвалась, люди поговорить хотели, так она на них кинулась, и пострадавшие есть.

– Горячая девка. – Рух мечтательно причмокнул.

– Мы к тебе, Заступа-батюшка, гонца посылали.

– Испугались?

– Как Бог свят, испужались. Куда мы без Заступы-то?

Пропадем.

– Лестно.

– А гонец вернулся, грит, Заступа живой, показаться не показался, но лаялся так, что и слышать не доводилось.

– А чего он орал? – пожаловался Бучила. – Может, я спал. Дело ли, человека будить?

– Не дело, – согласился Аникей и поморщился. – Так, стало быть, ты Марью-то отпустил?

– Отпустил. Добрый я.

– Ага, добрый. Точно. – Аникей подтянул сырые штаны. – Нешто побрезговал, бабушка?

– О том речи нет, свою пенку снял, – отмахнулся Рух. – Ты лучше скажи, Аникей, как на Марью жребий пал? Неужто Заступин мыт не собрали?

– Собрали, – затряс седой бородой Аникей. – Все до копеечки, как полагается, и людей в Новгород снарядили, да не срослось.

– Чего так?

– Устинья поперек дороги нам встала, – наябедничал старик. – Ты знаешь, ее слово в выборе невесты самое первое. Раньше-то она не совалась, поглядит, покивает, да и все, а тут словно вожжа под хвост угодила. Сказала, кости гадаль-

ные велели Заступе из своих девицу непорочную дать. А ежели нет, то будет два года неурожай, скотина охромеет и дети нарождаются страшилами. На Марью и указала.

– Устинье какой с того интерес?

– А не знаю, – развел руками Аникей. – Может, нет интересу, а может и есть.

– Хм.

– Люди меж собой всякое говорят, – старейшина понизил и без того тихий голос до шепота и воровато огляделся. – У Устиньи дочка – Иринка, соков женственных набрала, и, дескать, замыслила мать выдать ее за Ваньку Шилова, а Марьюшку, невесту его, через тебя извести.

– Вот оно как, – удивился Бучила. Ну и Устинья! Решила и рыбку съесть, и все такое прочее. Хитрая баба. Дело приняло совсем иной оборот. Нехорошее чувство возникает, когда тебя попытались использовать.

– Устинья страсть как озлобела, узнав, что Марья живой вернулась и у Ваньки живет, – сообщил Аникей. – Чисто мегера. Сатаниил.

– Осатанеешь тут. – Рух потерял к старейшине интерес. – Тебе, Аникей, спать не пора? Любишь ты разговоры вести, прямо удержу нет.

– Так я пойду? – оживился старик.

– Так иди.

Аникей поклонился и засеменял к избе, смешно, по-журавлиному выставляя длинные тощие ноги. Хлопнула дверь,

лязгнул засов. Рука Бучилы на дворе уже не было, за полночь визиты продолжились.

V

Устинья Каргашина еще не ложилась. Глубокая ночь – лучшее время для отложенных дел. Тех дел, что белым днем не свершишь. Устинья не зналась с чертями и не молилась старым кровавым богам, до сих пор дремлющим в чашах и топях, не приносила в жертву младенцев и не летала на помеле. Хотя ведьмой была потомственной, получившей дар от матери, а та от своей. Немножко гадалка, немножко колдунья, больше лекарка и мастерица в снятии порчи. Всего по чуть-чуть. Достаточно, чтобы быть нужной людям и не взойти на костер.

Сизый дымок от лучины клубился под потолком, тоненькой струйкой утекая в окно. Изба наполнилась пряными ароматами полыни, одолени, гармалы, зверобоя, лапчатки, зайцегуба и еще тысячи трав. От живота, от сглаза, от женских и коровьих болезней, для мужской силы, да мало ли для чего. У Устиньи на всяк случай своя травка припасена.

Знахарка сидела, подперев голову руками. Перед ней на столе в бадье настаивались болиголов, можжевельник и чеснок, приправленные сухими веточками березы. Заваренный в ночную пору, до полнолуния, отвар поможет детям избавиться от кошмаров, прогонит демонов-сонников, норových забраться в открытые рты.

Дочка – Иринка шестнадцати лет – посапывала на лавке,

разметав по подушке черные косы, похожие на свившихся змей. Материна надежда и радость, ей, когда придет время, передаст Устинья свой дар.

Рыжий, какой-то совершенно не подходящий для колдовских целей, слегка ободранный, разбойничьего вида кот, свернувшийся рядом, внезапно наострил порванное в многочисленных драках ухо. Гибко вскочил, выгнул спину дыбом и зашипел на стену.

– Ты чего, Асташ? – Устинья напряглась, кошачий страх передался и ей. За стеной слышались тихие вкрадчивые шаги. Или ветер шумит? Устинья тяжело задышала. Асташ ворчал и шипел. Иринка забеспокоилась во сне, белая рука соскользнула на пол.

В дверь отрывисто постучали. Устиньино сердце едва не оборвалось. Кого черт принес?

Стараясь ступать бесшумно, прокралась в сени, прихватив приставленный к стенке топор. Асташ не пошел, не дурной. Трусливая скотиньяка. Тяжесть железа вселила уверенность. Стук больше не повторялся. Устинья прижалась к двери, прислушалась. Тишина. Рядом брехали псы.

– Кто там? – с придыханием спросила знахарка. Никто не ответил. Может, почудилось? Устинья коснулась засова. Не открывай, дура, не открывай! Она встряхнулась, прогоняя липнувший страх. Каждого чиха бояться?

Распахнула дверь и проворно отскочила, готовя топор. Никого. Устинья вышла на крыльцо, ее потрясывало. От

обида закусила губу. Верно, прохожий шутнул. Или парни озоруют, скучно им, падлам. Почти успокоившись, она прошла по двору, помахивая топориком, проверила калитку, заглянула в темный страшный амбар. Внутрь зайти поостереглась. Вроде знакомое, а ночью все другим кажется – настороженным, злым. И темнота изменилась, став опасной и жадной. От амбара Устинья на всякий случай отступала спиной. Береженого Бог бережет. С крыльца осмотрелась еще раз. Задвинула засов, не заметив пары комочков рассыпчатой влажной земли на полу.

В горнице словно стало темней, хотя лучина горела прежним ровным огнем. Устинья вдруг перестала дышать. Мысли птицей метнулись к оставленному в сенях топору. Дура, чертова дура. В красном углу, под иконами, сидел человек в темной хламиде, лицо закрывал капюшон. Устинья подавила рвущийся вскрик, стрельнула глазами на дочь. Иринка спокойно, умиротворенно спала.

– Здравствуй, Устинья. – Голос ночного гостя был низок, вкрадчив и хрипл. Знакомый такой голосок. Человек сдвинул капюшон, приоткрыв худое, резко очерченное лицо, пронизанное сеткой черных болезненных жил. Тонкие губы тронула мерзостная усмешка. На знахарку пристально глядели страшные завораживающие глаза – белые бельма, без радужки, с черной точкой зрачка.

– Напугал, проклятуший. – Устинью чуть повело.

– Не тебя первую, если это поможет, – ласково, по его мер-

кам, улыбнулся Бучила. – Ты проходи, будь как дома, садись.

– Спасибо. – Устинья присела напротив упыря, страх по-немногу ушел. – Говорила: ночью не приходи. В прошлый раз соседка увидела, распустила слух, будто Степка Кольцо ко мне шастает.

– А Степка не шастает?

– Ты пошто пришел? – проигнорировала Устинья скользкий вопрос.

– Соскучился.

– Угу, дура я.

Рух откинулся на спину, посмотрел пристально и сказал:

– Очень давно, в той еще жизни, гадала мне знахарка одна.

Счастья обещала воз, богатство, любовь. Радовался, верил. А оно вона как вышло.

– Пожалеть тебя? – фыркнула Устинья, не понимая, куда клонит упырь.

– Можно и пожалеть, я до ласки ух какой жадный. А лучше погадай мне, Устинья, слышал, мастерица ты кости кидать. Кстати, чьи? Запойного пьяницы-самоубивца? Они вроде самые верные. Или бычьи?

– У младенчиков кровь выпиваю, а костями в кружке бренчу. – Устинья напряглась.

– Марью таким макарком сосватала мне?

– Ах вот ты приперся чего. – Устинья взгляда не отвела. – Дело мое, кого я сосватала, тебе какая беда?

– Не люблю, когда мной играют. Очень от этого злюсь, –

признался Рух.

– А кто играет? – загорячилась Устинья.

– Не знаю, но обязательно выясню. А пока с тебя спрос. Слухи дошли, Иринку свою хочешь за Ваньку Шилова выдать, вот Марью и спровадила мне.

– Кто сказал? – Устинья побелела.

– Ну мало ли кто. Люди. Я, знаешь ли, общительный, умею развязывать языки.

– Врут люди твои, – вспылила знахарка и осеклась, боясь разбудить спящую дочь. – Чтобы я ягодку мою за Ваньку Шилова отдала? Кобелюку паршивого? Да ни в жисть! Не дай Бог с семейкой их породниться.

– И то верно, не пара он Иринке твоей, я сразу так и подумал. – Рух искоса посмотрел на спящую девку. – Красивая она у тебя, кровь с молоком, может, отдашь за меня, чтобы свиньи хорошо поросились и злой неурожай миновал? Так ты вроде нагадала? Я возьму.

– Нет, – вскинулась травница.

– А чего, в женихи не гожусь? Рылом не вышел? – Рух оскалил клыки, приоткрыв лепестковую пасть. Устинью передернуло.

– Наврала я. – Она инстинктивно прикрыла дочку собой, так наседка закрывает цыпленка, увидев ястреба в небесах. – Набрехала и про поросей, и про неурожай. Кости всякое показали, а я додумала.

– И зачем?

– Не моя тайна. – Устинья отвела взгляд. – Уходи, Бучила, не мучай. Все равно не вышло у нас.

– Не скажешь?

– Не скажу.

Рух помолчал, задумчиво поскреб черным ногтем стол и проговорил:

– Пятнадцать весен тому, к воротам Нелюдова прибилась бродяжка – голодная, босая, окровавленная, раздетая, с умирающим младенцем в слабых руках. Свалилась в канаву у ворот, просила еды. Лохмотья на спине разошлись, и все увидели – женщина клеймена как скотина. Крест в круге, знак московского патриарха. Ведьма. Люди хотели камнями забить. Помнишь, Устинья, кто их остановил? Помнишь, кем была та бродяжка и что с ней стало потом?

– Помню и никогда не забуду, – с придыханием ответила знахарка, роняя внезапно закружившуюся голову на руки. – Все тебе расскажу...

VI

Ночка миновала, полная страсти и нежности, запахов прошлогоднего сена, пыли и неистовой жаркой любви. До изнеможения, до животного стога, до закушенных до крови губ. Первый и словно в последний раз. Марья ушла, едва небо чуть засветлело и звезды начали потухать, оставив после себя тепло и хмельное кружение в голове. Поспать Ваньке так и не удалось. Вскочил с рассветом, счастливый, довольный и радостный. Умылся, хлеба кусок ухватил, по хозяйству захлопотал. Горы готов был свернуть. Воды натаскал, дров наколот, задал овса лошадям. Аннушка вышла заспанная, руками всплеснула. Отродясь не видела брата таким. Мать улыбалась тайком. Поняла, что к чему, почуяла женским нутром. Глава семейства храпел в опочивальне, просыпался с криками, орал на весь дом. Всю ночь шатался по кабакам, дружки притащили под утро, усадили у ворот: расхристанного, пьяного, вывалянного в грязи. Тимофей упал, пел матерные частушки, грозился в предрассветную тьму. Своих не узнавал. Едва уложили.

Сердобольная Аннушка хлопотала над отцом, успокаивала, таскала из подполья крепкий огуречный рассол. Отцовскому загулу Ванька обрадовался. Знал, предстоит сурьезнейший разговор. К Шиловым зачастили гости. То соседка за солью, то кума поздороваться, то мимохожий зайдет. Ис-

коса посматривали на Марью, незаметно крестились, пришлось ворота закрыть.

Марьюшка помогала во всем: быстрая, сноровистая, умелая. Они почти и не говорили, лишь изредка обмениваясь взглядами шальных обжигающих глаз. Матушка к обеду покликала, когда Марья, подметавшая двор, вдруг побледнела и едва не упала, схватившись за столб.

– Марьюшка! – Ванька подскочил, успел поддержать.

– В голове помутилось... ох. – Марьюшка обмякла у него на руках, потеряла сознание.

Грудь вздымалась бурно и тяжело. Лицо приняло землистый оттенок, она засипела, из носа капала водянистая алая кровь. Напуганный Ванька потащил невесту в горницу, бережно опустил на ложе. Прибежала Аннушка, сунулась под руку, округляя от страха глаза.

– Вань, Вань, чего тут?

– Марьюшке поплохело, – огрызнулся Ванька, не зная, что предпринять.

– Ое-ещечки! – Сестренка вылетела из комнаты. – Матушка! Матушка!

Марьюшке становилось хуже и хуже. Лоб покрылся испариной, рубаха приклеилась к телу, лицо заострилось. Лежала раскаленная, мокрая, вялая. Ванька приготовился расплакаться от бессилия.

Вошла мать, оттерла сына плечом. Склонилась к Марьюшке, положила руку на лоб.

– Горит девка. Беги за лекаркой, живо!

– Это я щас! – Ванька пришел в себя, опрометью бросился на улицу. С полдороги спохватился, вернулся, схватил рубаху, потянул на бегу через ворот.

– Анька, воды! – донесся в спину материн крик.

Никогда так Ванька не бегал, дышать стало нечем, спицей кололо в боку. Лекарка Ефросинья жила на другом конце села возле Тверских ворот. Бабка поможет, всякие болезни знает и лечит, как телесные, так и душевные. Берет недорого, кто сколько даст. Ванька бежал, распугивая курей, перепрыгивая грязные лужи. Наступил в воду, черпанул через край. «Марьюшка, Марьюшка», – прыгала в голове дикая мысль. Впереди замаячила островерхая крыша. Всем телом ударился в калитку, залетел на двор. Огляделся. Бабка Ефросинья ковырялась на огороде, тупая землю мотыжкой. Рядом держался приживала – оживленная волшебной деревянная кукла высотой бабке до пояса с ручками на шарнирах и грубо накрашенным краской лицом. Такие еще встречались у старых колдуний, помогая по хозяйству и в ведовстве. Увидав Ваньку, приживала заслонил хозяйку собой. Ефросинья, напуганная вторжением, погрозила сухоньким кулаком.

– Куды лезешь, диавол?

Ванька попер на нее.

– Репу подавишь, лободырный ⁶! – Приживала замахал тоненькими ручонками. – А ну повертай!

⁶ Лободырный – недоумок.

– Отвали, полено. Спаси, бабушка. – Ванька хлопнулся на колени, не обращая внимания на разбушевавшегося деревянного человека. – Невеста помирает.

– Марья? – Лекарка подозрительно прищурилась.

– Она.

Ефросинья отступила, щеря беззубый рот.

– Пушай помирает, оно и к лучшему выйдет.

– Бабушка!

– Заступе невесту верни. – Ефросинья погрозила пальцем. – Она с ним повязана, так и будет соки тянуть. Ту жилочку порвать сил моих нет, дело богомерзкое, грешное. Не возьмусь. К Устинье иди, авось подмогнет. Ну, а ты чего встал? – ощерилась бабка на приживалу. – Копай!

От бабки Ванька рысью несся, задыхаясь и падая. Из конца села в конец, как дурак. А Марьюшка помирает... Лишь бы успеть. Изба Устиньи за глухим забором, ни щели, ни перелаза. Ведьма она, вот и прячется с глаз людских, вершит худые дела. За помощью к ней обратиться – душу продать. А куда денешься? Ванька заколотился в ворота, как мотылек.

Устинья открыла сразу. На Ваньку уставились чернющие, омутные глаза.

– Чего тебе?

– Там это... – Ванька зашелся надсадным кашлем. – Марьюшка помирает. Помоги, век служить тебе буду!

– Уходи. – Устинья попыталась захлопнуть калитку.

– Помоги. – Ванька сунул в щель ногу. – Помирает...

– Мне что с того? Твоя голова где была, когда к Заступе полез? Уходи.

Устинья налегла на калитку, стукнул засов.

Обратно Ванька шел, не разбирая пути. Для себя решил: помрет Марьюшка, сначала Ефросиньин дом подожжет, потом и Устиньин. Опосля себя порешит. Пусть знают. Домой зашел, хлопнул дверью что было сил.

– Цыц! – Из кухни выглянула недовольная мать. – Не шуми, спит она, отпустила лихоманка проклятая, жар унялся.

В горницу Ванька как на крыльях влетел. Марьюшка спала, разбросав по подушкам спутанные русые косы. Грудь вздымалась спокойно и ровно, на щеках появился румянец. Ванька обессиленно сполз спиной по стене.

– Кис-кис! – Вошла Аннушка и пожаловалась: – Васька пропал. Не видал?

– Нет, – Ванька мотнул головой. Кот сейчас волновал его меньше всего. Он и раньше исчезал то на день, то на два, ничего страшного. Весна на дворе.

– Только был, и нету его! – развела руками сестра. – Марьюшка заметалась, закричала, он и испугался поди, оборот. Мы с маманькой с ног сбились, то к Марьюшке, то к отцу, а тебя все нет и нет. А тут коровки вернулись, мы к ним. Пока бегали, глядим, а она и выздоровела совсем. Такие вот чудеса!

VII

К вечеру Марьюшка не проснулась. Ванька будить не стал, сидел цепным псом, ожидал. Внезапный недуг отступил, выпустил девку из лап. Домашние вели себя тихо, даже отец не буянил. Сунулся в горницу, посмотрел волком и отбыл в кабак, заливать непонятное горе. Мать громыхала горшками, Аннушка, не найдя Ваську, занялась рукоделием. По дому плыл аромат свежего хлеба и щей.

Ванька поклевал носом и незаметно уснул, забылся тяжелой болезненной дремотой. Проснулся рывком. Свеча почти догорела, время к полуночи. Темнота налилась чернотой, густела вдоль стен. Ванька потянулся, зевнул да так и застыл. Марьюшки не было. Смятая постель остыла, лоскутное одеяло отброшено в сторону. «К Бучиле ушла!» – пронзила первая глупая мысль. Ванька засуетился, выскреб огарок, запалил новую свечку. Темное облако нехотя отступило, сжалось в углах.

Высунул нос из горницы. Темно и тихо было в избе, лишь под печкой шебуршились и попискивали мыши. Ванька прокрался в сени. Свечные отблески прыгали по ушатам и венникам. Он замер, уловив странный шум. На конюшне беспокоились лошади, били копытами, фыркали. Словно волка почуяли.

Ванька толкнул двери на двор. Внутри клубилась пропах-

шая навозом и гнилым сеном темнота. В хлеву завозились, в длинную щель просунулись свинские пяточки, щетинистые бока терлись о жерди. Коровы, Буренка с Малушей, проводили Ваньку сонным задумчивым взглядом. Кони похрапывали. Никак домовой балует, гривы плетет? Увидеть его – большая удача. Ванька, обмирая со страху, вошел на конюшню, подняв свечу над головой. Теплый свет отбрасывал тьму на пару шагов. Ноги бесшумно ступали по рыхлой подстилке. Ломовик, ленивый вислогубый Каурка, и две пристяжные кобылы испуганно жались к черным стенам. Остро пахло нагретой медью. Посреди конюшни каменел Жаворонок, смолистый вороной жеребец, отцовский любимец. Дивно красивый и быстрый. Под бархатной шкурой мелко подрагивали упругие мышцы. Задние ноги подгибались в полуприседе. К шее коня, резко выделяясь на угольном фоне, припала белая скособооченная фигура. Слышалось жадное чавканье. У Ваньки волосы встали дыбом. Надо было топор прихватить, да чего уж теперь...

Фигурка дернулась, угодив в полосу света, ушей коснулся сдавленный хрип. К Ваньке повернулось страшное окровавленное лицо. Багровые подтеки сползали на грудь, в оскаленном рту белели острые зубы.

Сука! Ванька оступился и едва не упал. Тварь прыгнула с места на полусогнутых, выставив руки перед собой... И замерла. Косматая голова склонилась к плечу, уставив на Ваньку крохотные, наполненные безумием глаза.

– Ванечка? – растерянно спросила тварь. Перед ним стояла Марьюшка: поникшая, жалкая, страшная. С уголка губ, пузырясь, сочился багровый кисель.

– Ты чего это? – невпопад спросил Ванька. Его мутило.

– Я не знаю. – Марьюшка с ужасом рассматривала залитые кровью руки. – Ванюша, Ванюша...

И упала без чувств.

VIII

Чуть свет Ванька был на Лысой горе. В стылую дыру не полез, на своих ошибках учатся. Крикнул вниз, слушая гулкое эхо:

– Бучила! Бучила! Выйди на час!

Ответа не было, упырь издевался или крепко спал. Наконец из кромешной тьмы донеслись шаркающие шаги. Тени зашевелились, потекли кудлатыми прядями, потянуло нечистым болезненным воздухом. Рассветное солнце пугливо замерло на изломе черных лесов.

По ступенькам поднялся Бучила в балахоне до пят, с глубоким капюшоном на голове, кисти спрятаны в рукавах. Похож на монаха, да не монах.

– Че приперся? – Рух посмотрел выжидательно. Внутри у него звенели серебряные колокола. Приятно побеждать. Знал, что придет.

– С Марьюшкой беда, – выдохнул Ванька.

– То ли еще будет, – обнадежил Бучила.

– Ночью у коня кровь пила.

– Вот оно как, – притворно удивился Рух. – Быстрая. Ах, ну да, прибывающая луна. Стоило ждать.

Ванька подался вперед, пытаюсь заглянуть Бучиле в глаза.

– Об одном прошу, ответь на духу: Марьюшка моя станет такой же, как ты?

– Как я? Ну уж нет. Я вурдалак, мертвец неуспокоенный и восставший, вурдалачьим зовом из могилы поднятый. Смертью лютой обретший новую жизнь. Сохранивший разум. А Марья твоя обратится упырем, тварью злобной и обезумевшей. Сегодня кони, завтра люди. Жажда будет расти, съедать изнутри. Сначала кровь, потом мясо. Одичает и изменится, станет бояться солнечного света и проточной воды.

Ванька стоял, покачиваясь на каблуках. Кулаки сжал добела. Все рухнуло, рассыпалось в прах.

– Лекарство...

– Лекарства нет, – отрезал Бучила. – Есть два пути. Оба тебе не пойдут. Первый – уйти от людей, скрыться в лесах. Ты и она. Если поить козлиной кровью, заваренной на чертополохе и красном грибе, выгадаете несколько лет. Будешь засыпать, не зная, проснешься или нет.

Рух многозначительно замолчал.

– А второй? – выдохнул Ванька.

– Девку убей.

Ванька похолодел.

– Тогда будет выбор, – закончил Бучила. – Похоронишь, и Марья возродится с полной луной, вырастет из-под земли, станет вурдалачкой, родичем мне. Если любите, будете вместе. Мертвый с живым. А проткнешь колом – успокоишь навек. Тебе решать.

– Ты мог мне сказать. – У Ваньки в горле заклокотало.

– Мог, да кто меня слушал? Дома она?

– Ну, – напрягся Иван. – Запер и велел никому не входить, сказал, лихоманка вернулась.

– Рисковый ты, – хмыкнул Бучила, улыбка вышла паскудной.

Ванька попятился, меняясь в лице, повернулся и побежал вниз по тропе. Ветер рвал рубаху, трепетал в волосах. Ванька бежал. Ворвался в избу, сложился напополам, хватал воздух ртом, держась за косяк. Дверь в горницу была приоткрыта, роняя в коридор лучик яркого света. Марья пропала, оставив после себя измятую, скомканную постель. Выпустили! Ох, е! Он едва не расплакался и тут увидел торчащий из-под лоскута кусок черной шерсти. Свалился на пузо, сунул руку, нашарил мягкое. Сердце учащенно забилося. Ванька вытащил мертвого кота, легкого, словно былинку. Окоченевшие лапки торчали колом, мутные глаза выкатились, шерстка на шее слиплась в засохшей крови. От упитанного Васьки остались кожа да кости. Нашелся котейка.

Мать прибиралась в хлеву.

– Марья где?

– Напугал, окаянный! – вскинулась мать. – Ты где был?

Ушли они.

– Кто?

– Марьюшка с Аннушкой. На реку... Ванька, постой!

Мать кричала, прохожие шарахались в стороны, от ворот свистели и гикали. Перед глазами плыло, расходились и лопались цветные круги. Ванька знал, куда бежать. К трем кри-

вым ивам, макаящим ветки в омут, где со дна бьют ледяные ключи. Их любимое место...

Ванька запыхался, упал, несколько шагов одолел на четвереньках, поднялся, шатаясь как пьяный. Старые ивы встретили угрожающим шепотом. Птицы не пели, солнце померкло. Ванька заорал дико, заблажил, увидав у воды крохотное тельце в лазоревом сарафане. Аннушка лежала на берегу, и ивы пытались прикрыть ребенка тонкими гибкими кронами. В остекленевших, полных удивления глазах отражались плывущие облака, из разорванной шеи толчками шла алая кровь. Ножки взбили песок, руки намертво вцепились в траву.

Ванька рухнул на колени и захрипел. Слез не было – выкипели.

В зарослях зашуршало, он резко повернулся. Из-за деревьев вышла Марьюшка, застенчиво улыбнулась. Милая и родная. Впечатление портили багровые подтеки на губах и груди. Ваньку трясло.

– Ты... ты... ты зачем? – Он поднялся, раскачиваясь.

– Любимый. – Марьюшкин голос очаровывал. – Я не виновата... Я ради любви... Ванечка.

Ванька окоченел, позволяя обнять себя. Они опустились в песок. Марьюшка жалась щенком, виновато заглядывала в глаза.

– Уедем, ты и я, нам не нужен никто, Ванечка, – шептала она, пачкая его кровью сестры. – Злые они, не поймут, а у нас любовь...

– Оно так, – отвечал Ванька чуть слышно, баюкая любимую на руках. Хотелось лечь и уже не вставать.

– Уедем далеко-далеко. – Марьюшкины глаза горели безумным огнем. Она украдкой облизнула липкие пальцы.

– Оно так, – повторил Ванька.

– Люби... – Марьюшка хоркнула, скосив глаза на нож, торчащий ниже левой груди. Ванькины слезы капали ей на лицо. Он бил снова и снова, чувствуя теплые струйки, выплескивающиеся на живот, и сосущую пустоту. Клинок легко входил в мягкую плоть. Марья обмякла, руки разжались.

– Ванюша...

Ванька надрывно, по-волчьи, завыл.

Аннушку снес домой, бережно опустил на ложе рядом с котом. Сестра и ее котейка, Ванькина плата за несбывшуюся любовь, за счастья единственный день. Убрел, шатаясь, прикрыв уши руками, заглушая истошный материн крик. Марье вбил в сердце осиновый кол, зарыл невесту под тремя старыми ивами, на высоком речном берегу. Ни холмика, ни креста не оставил, пускай зарастает быльем. Стоял, опустошенный и сломленный. Вспоминал себя, обмирающего со страху перед логовом упыря. Обид не таил. Сам виноват. Была мечта, осталась черная гарь. Шагнул было к омуту. Нет. Грехи можно лишь искупить. Блеклое солнце коснулось земли, бросило извилистые жирные тени. Ванька Шилов без оглядки уходил по дороге на Новгород.

IX

Дзынь. Дзынь. Рух забавлялся, роняя монеты на стол. Серебряные кругляши обжигали пальцы огнем и разлетались с мелодичным брэнчанием. Горница пропиталась застоявшимся перегаром, кислятиной, овчиной и стухшей мочой. Пламя свечи колебалось и прыгало. Мужик, разметавшийся на ложе, сдавленно замычал. Из недр битой молью медвежьей шкуры тяжело поднялась лохматая голова. Роба опухшая, заплывшая синяком, в нечесаной бороде налипла засохшая блевотень. Дико вращались налитые кровью глаза. На Тимофея Шилова было страшно глядеть. Допился.

– Кто таков? – прорычал Тимофей.

– Заступа, – любезно представился Рух. – Вставай, Тимоша, поговорим.

– Не о чем мне с тобой разговаривать, чудище. – Тимофей закашлялся, подхватил с пола кувшин и забулькал, кадык заходил ходуном. Пил жадно, проливая на грудь. По горнице разлился пивной дух.

Тимофей отфыркался, грохнул кувшином по столу, уставился на монеты.

– Деньгу принес, образина? У меня своих курья не клюют.

– Любишь серебришко? – полюбопытствовал Рух.

– А кто не любит?

– Мертвые, – вкрадчиво сказал Рух. Тимофей отшатнулся.

ся, в осоловелых глазах мелькнул страх.

Рух сгреб деньги в кучку.

– Пятнадцать гривен, Тимофей.

– Эка невидаль, тьфу.

– Столько ты заплатил Устинье, чтоб нагадала мне Марью отдать.

Тимофей Шилов вмиг протрезвел. Съежился, втянул голову в плечи и прошипел:

– Откуда узнал?

Рух неопределенно пожал плечами.

– Можно скрыться от людей и от Бога, от меня не скроешься, Тимофей. Не хотел сына на беднячке женить, гордыня выиграла, отговорить не сумел, ни угрозы, ни посулы не помогли. Серебро тайком Марье сулил. Отказалась она от денег поганых твоих. Не предала любовь свою. Тогда удумал злодейство. Все рассчитал, Устинью уговорил. Она и не отпиралась, серебро на дороге не валяется. Сладились вы. Нагадала знахарка Марьюшке злую судьбу.

– Моя то воля, отцовская, – захрипел Тимофей. – Не тебе меня совестить, чудище.

Монета со щелчком вылетела из пальцев Руха, ударила Шилону в грудь, отскочила и покатилась кругом на дощатом полу. Вторая попала в лицо. Бучила кидал, ведя зловещий отсчет.

– Пятнадцать гривен, Тимофей, небольшая цена. Пять за Марьюшку, пять за дочь твою, Анну, пять за порушенную

Ванькину жизнь.

Деньги, тускло посверкивая, летели Шилову в грудь и лицо. Тимофей не пытался уклониться, окаменел. Последняя монета исчезла в косматой, давно не стриженной бороде.

– Три загубленные души, Тимофей. За пятнадцать монет. Не продешевил?

Шилов бухнулся на колени, пополз к Руху, умоляюще вытянув руки.

– Грех на мне великий, нет мне прощения. Убей меня, Заступа-батюшка, убей, заслужил!

Бучила встал и отступил в темноту, брезгливо корча тонкие губы.

– Это слишком просто, Тимоша. Живи, помни, жри себя заживо, пусть Марья с Аннушкой являются тебе по ночам. Об этом я позабочусь.

– Заступа! – Шилов полз следом за ним. – Прости!

– Бог простит. – Рух пихнул скулящего Тимофея ногой, отошел к двери, обернулся и сказал на прощание: – Я хотя бы дал твоему сыну надежду. Так кто из нас чудовище, Тимофей?

Птичий брод

Господь со мною злую шутку сыграл: искупая грехи, грешу без меры, погружаюсь глубже в зловонную тьму. Кровь на руках, кровь на губах, вместо души падали шмат. Путь мой к прощению выстлан муками и костями. Шаг вперед, два шага назад.

Дорога к Птичьему броду виляла по краю глинистого серого поля. Набухшая влагой земля вожделела плуга и семени, готовясь начать вечный круговорот расцвета и увядания, смертью рождая новую жизнь. День за днем, год за годом, полтысячи лет. Поле это, как и все прочие в Новгородчине, человек взял потом и кровью, смертным боем вырвав у дремучего леса, нечисти и диких племен. За каждый клочок скудной северной земли уплачена большая цена. Оттого на межах столько часовенок, где в память о павших денно и ночью горят огоньки и грозно смотрят в лесную тьму потемневшие образа. Никто и не вспомнит теперь, когда первый человек славянского рода ступил в этот безрадостный край. Было это задолго до Рюрика и принятия Русью святого креста. Славяне пришли сюда от большой неизбывной нужды, бросив лежащую на полдень от Рязани и Киева бескрайнюю степь с плодородной жирной землей. В землю ту палку воткни – вырастет дерево. Живи, радуйся, строгай на досуге детей. Но кроме жизни степь несла лютую смерть. По

разнотравью и балкам ⁷кralись всадники на лохматых конях, и не было им числа: авары, печенеги, хазары и половцы. Кочевники – извечный заклятый враг. Жгли поля и деревни, резали скот, вязали людишек в полон. Горе неуспевшему укрыться за дубовыми пряслами городов. Князя посылали дружины, но те видели только дым и обезображенных мертвецов, возвращаясь ни с чем, или сами, утыканые стрелами и посеченные саблями, оставались гнить среди курганов и безликих каменных баб. И тогда люди потянулись на север, подальше от степняков и княжеской кабалы. В дремучие чащи, где до сих пор прятались черные колдуны, высились развалины таинственных городов и манили легендарные сокровища гиперборейских царей.

Колеса утопали в едва подсохшей грязи. Вурдалак Рух Бучила трижды соскакивал с телеги и помогал отошальной кобыле. Было жалко лошадку, она уж точно не виновата ни в чем. Скакуна и повозку отрядили нелюдовские старейшины по первому требованию. До Птичьего брода всего четыре версты, да лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Вдобавок груз с Рухом немалый – четыре горшка с серой, маслом и жиром, первейшее средство для разжигания большого огня. Хочешь блины пеки, хочешь жги города. Сегодня Руха ждали заложные – ожившие мертвяки, по слухам объявившиеся на Птичьем броду. Три недели назад пропали у брода мужи-

⁷ Балка – сухая или с временным водотоком долина с задернованными склонами.

ки, телега и конь. Черт их дернул через поганое место идти. Теперь шатаются, пугают честных людей, а Бучиле забота – тащиться спозаранку, свойские ноги ломать.

Возница, Федор Туня, тощий, рыжий, конопатый мужик с огромными ручищами и узким лицом всю дорогу помалкивал, изредка бросая на упыря короткий испуганный взгляд. Рух чувствовал идущий от него сладкий удушливый страх. С одной стороны, приятно, когда боятся тебя, а с другой, бывает и тянет поговорить, а не получится. немеют людишки рядом с Бучилой, лишаются языка. Прямо поветрие. А иной раз хочется простых человеческих разговоров о погоде, бабах и видах на урожай. Толики общения и тепла.

– Федь, ну чего ты как не родной? – Рух не выдержал и поганенько пошутил: – Я ж не кусаюсь.

– Ага, не кусаешься, Заступа-батюшка. – Федор отодвинулся, насколько позволял облучок. – Боязно мне.

– Ты же со мной.

– Того и боюсь, – вздохнул Федор. – В грудях жмет от предчувствиев нехороших. Место больно плохое.

– То так. – Рух ободряюще подмигнул белым глазом с черной точкой зрачка. Птичий брод не зря зловещую славу снискал. Путь до Рядка сокращает на дюжину верст, да редко кто путем этим ходит. Река мельчает на Птичьем броду, открывая старую лесную дорогу; рядом с бродом, на берегу, древний жальник языческий – оплывшие курганы племени, чье имя не помнят и старики. Поклонялось племя Ящеру – чу-

ду речному, с рогами и в чешуе, приносило жестокому богу кровавые жертвы, а потом сгинуло без следа. Остались могилы да черное пятно среди чащи, такое, словно горел там негасимый огонь, выжег землю и глину до твердости спек. Ведуны поговаривали – капище было, а может, и вход в подземный мир, кто теперь разберет? Остался среди леса не зарастающий ни травой, ни деревьями круг. Боялись поганого кладбища больше по привычке: страшилища оттуда не лезли, моровые ветры не дули, лишь изредка, по ночам, видели на курганах пляшущие багровые огоньки. Годов полтора назад четверо бедовых нелюдовских мужиков собрались за золотом, старые могилы копать. Им-де сам черт не брат, хапнут сокровищ и умертвий поганых не испугаются. Поутру вернулся один – весь будто сваренный в кипятке, кожа лохмотьями слезла, в пузе дыра. Встал у колодца и жалобно выл. Руки отнял от живота, а из раны монеты и побрякушки резные на землю валяются и в уголья черные превращаются. С тех пор никто на могильник за проклятым золотом не ходил. На памяти Бучилы ничего такого не происходило, пока не пропали извозчики. Торопились, видать... – Мужиков сгинувших знал? – спросил Рух.

– Не-а, – мотнул Федор башкой. – Ненашенские они, из Бурегихи. Сатана их дернул Птичьим бродом пойти. Жальник увидели, глазенки и загорелись. Мне кум рассказывал – парни возле Черной косы холм раскопали, а там золото, камень и клинки ненашенские, изогнутые. А посередке мертвяк

разложением не тронутый, с черным лицом. А кум врать не будет, честнейшей души человек, если и врет, то только попу на исповеди и то во спасение грешной души.

Бучила скептически хмыкнул. В курганное золото Птичьего брода не верилось. Дальше на севере курганы богатые, там варяжские ярлы лежат, а в лесах и трясиных кроются могильники чуди белоглазой, народа проклятого и колдовского, те покойников серебром и янтарем засыпали. В Новгороде целые ватаги промышляют грабежом погостов чудских, золото лопатой гребут. Ну те, кто остаются в живых. А в наших краях тыщу лет беднота бедноту сменяла, нищетой погоняла. В курганах зола, кости да черепки. Рух в свое время, от скуки, Птичий брод изучил, городище искал, да так и не нашел ничего, кроме утопающих в крапиве ям то ли землянок, то ли каких погребов.

– А если тати лесные их прихватили? – насторожился Бучила. – Груз, говорят, ценный был.

– И то верно, – поддакнул Федор, немного освоившись. – Недавно случай один был, возле Каменного порога, налетели на купчишек московских васильковские тати-озорники. Охране зубы выбили, мягкую рухлядь и ткани ромейские подмели, купчишек донага раздели, дегтем извозякали и ушли добро пропивать. Купчики разнесчастные три дня до людев берегом шли, а как пришли, едва живы остались. Бабы белье полоскали, а тут из чаши мурлища страшные лезут: грязные, кровавые, срам листочком прикрыт, в боро-

дищах шишки да гнездышки птичьи. Чистые лешаки. Бабы в визг да в бега, мужики примчались, хотели чудищ смертным боем побить. А лешаки не противятся и злодействов не замышляют, а, о диво, на землю валяются, ползут, за ноги обнять норовят и человеческими голосами Богородицу за избавление славят. Поп местный чуть с ума не сошел, думал, нечисть к Христу обратилась, и оттого еще тверже в вере, и без того крепкой, стал.

– Живы купцы-то остались? – хмыкнул Рух.

– Живы, – кивнул Федор. – Чего им сделается? Люд у нас добрый, если кого и убьют, то долго себя после злодейства казнят, аж до обеда. Отмыли несчастеньких в бане, накормили, сейчас на волоке работают, на дорогу домой копейку зарабатывают тяжелым, значит, трудом.

Черная кромка хмурого ельника распалась на зубчатую гряду острых вершин. Взошло подернутое болезненной мутностью солнце. Бучила зябко поежился. Хотел в темноте управиться, но тогда бы пришлось одному поклажу тащить. А спина своя, не чужая. Ночью Федор бы наотрез отказался идти. Рух инстинктивно отвернулся от солнца, перед глазами плыла белесая пелена. Его мутило. Ничего, перетерпеть, и пройдет. И сказал:

– Федь, кобылку подгони, торопимся мы.

– Сделаем. – Федор привстал и легонько огрел лошадку кнутом. – Эге-гей, залетная, выручай!

Кляча вспомнила молодость, подкинула костлявую задни-

цу, перешла с шага на тряскую рысь, одолела шагов двадцать и обескураженно сникла. Рух тяжело вздохнул.

– Жжется солнышко-то? – посочувствовал Федор.

– Есть чутка, – кивнул Рух.

– А говорят, сгорает уп... Ну, таковский, как ты, на свету.

– Брешут.

– Оно и видать.

– Чего мне гореть? – возмутился Рух. – Кто я есть? Мертвяк: кожа, кости да гниль. Где это видано, чтобы мертвяк от солнца горел? Бабкины сказки.

– И то верно, – расстроился Федор.

Рух мельком глянул на солнечный диск. Не смертельно солнце для упыря, а кто байку эту придумал, тому оглоблю бы в зад. Люди верят, глаза выпучивают, доказывают, мол, должен гореть и весь сказ, иди и гори, неча тут шлендаться. На деле иначе: слабеет на солнце вурдалак, теряет чутье, видит и слышит хужей. Как всякий хищник ночной при свете белого дня. Но не горит, разве маслом облить и поджечь. Но тут уж без разбору, всяк полыхнет. Не боится вурдалак ни солнца, ни чеснока, ни распятия. Тень у него есть и отражение. Такой же человек, только не человек. Ну и мертвый допреж.

– Вопросик имею тады, – осмелился Федор. – Раз солнышка не страшишься, чем тебя взять?

– Лаской, – кривенько ухмыльнулся Рух. – Или голову напроць снести.

– Это точно, без головы-то куда? – философски согласил-

ся возница. – Без головы даже таракан, животная гадская, и та не живет.

Сравнение с тараканом несколько покорило. Телега, вильнув в грязи, свернула в пролесок, Руха накрыла благодатная тень. Стало полегче. Весенний лес пах особенно. нарождавшейся зеленью, стаявшим снегом, отсыревшим валяжником и терпкой смолой. К благоуханию исподволь подмешивался запах настороженный, злой. Запах мертвечины и падали, смерти и разложения, обрывки невнятных мыслей и щемящая волчья тоска.

– Ты чего, Заступа-батюшка? – чутко уловил настроение Федор.

– Заложные рядом, – отозвался Бучила. – Слабые пока, злобой и ненавистью не напитавшиеся, самое время их брать.

– Ага, самое время. – Федор шумно сглотнул. – А какие они, заложные эти?

– Разные. Люди – они и живые разные, и мертвые разные. Не все злые и до крови жадные. Некоторые могут остатки ума сохранить. Речь человечесю помнят, мозгой, червем изъеденной, шевелят. Такие самые опасные.

– И чего, любой мертвяк подняться может?

– Не-а, – мотнул головой Рух. – Только смерть безвременную принявший и посмертного упокоения не получивший. Не отпетые, не похороненные, тихушкой зарезанные, самоубийцы, утопленники да некрещеные. Думаешь, зря раньше

труппе сжигали или насыпали курган да каменюку сверху поболее наваливали? Чтобы не выкопался, подлец. Такие дела. А бывает...

– Заступа, – оборвал Федор. – Глянь-ка чего.

На обочине лесной дороги стояли два человека. Один низенький, второй верста коломенская, здоровенный бугай. Оба в черных рясах до пят. Неужто монахи?

Телега, скрипя и вихляясь по колее, подкатила к прохожим. Ну точно, монахи, в душу ети. Скоро в нужник нельзя сходить будет, чтоб со святошей не повстречаться каким. Всюду лезут, как вши. Который пониже оказался горбатеньким щупленьким стариком. Под капюшоном, скрывавшим глаза, проглядывалось сухое, морщинистое, похожее на кору дуба лицо, с длинной окладистой седой бородой. Монах покачивался на нетвердых ногах, опираясь на кривой сучковатый посох.

Высокий произвел впечатление. Здоровенный парень, кося сажень в плечах, высоченный, живого весу пудиков⁸ семь. Ряса измызгана свежей синей глиной. Неряха какой.

От обоих едва уловимо тянуло колдовством. Ничего удивительного, вера и магия – одного поля ягоды, чудеса одинаково могут творить. У тех монахов, кто аскетой и постом себя иссушают, силы бывает не меньше, чем у потомственных колдунов. Бесов гонят, пророчествуют, лечат наложением рук. Чего, интересно, забыли в этой глуши?

⁸ Пуд – русская мера веса, равная 16,3 кг.

– Здорово, святые отцы! – дурашливо поприветствовал Рух.

– Здравы будьте, люди добрые, – скрипуче отозвался старик. Верзила издал похожий на бульканье звук.

– Куда путь держите, ежели не секрет?

– От Софии Новгородской в Николаевский монастырь, к мощам старца Антония, исцеленья просить.

– Этому надо сильно, видать, – Рух кивнул на великана, обильно пустившего слюни.

– Послушника Петра Господь умом обделил, – виновато улыбнулся монах. – Работящий, сильный и добрый, а разум годовалого отрока.

– У-а, – подтвердил Петя, принялся гунькать и затряс башкой так, что та едва не оторвалась. – У-ур.

Ощущение близкого источника колдовства усилилось. Причем от молодого тянуло явно сильнее. Оно и понятно – юродивый. А юродивых на Руси принято чтить. Ближе они к Богу многих других.

– Этой дорогой можете до монастыря не дойти, – предупредил Рух. – Место дурное. С нами идите, как управимся, выведем на тверской тракт.

– И правда, святые отцы! – вскинулся Федор, обрадовавшись возможной компании. – С нами лучшей, завсегда защитим!

– Благодарствуем, – склонился в неуклюжем поклоне старик. – Но уж как-нибудь сами, Господь защитит. На него упо-

ваем.

– Дело ваше. – Бучила дернул плечом. – Бог-то, знаете, кого бережет? То-то. Ничего дурного не видели?

– Волки выли надысь⁹, – неуверенно высказался монах и пошамкал губами. – А так тишина и благодать, птахи поют, зайчики резвые прыгают.

– Вот и вы упрыгивайте отсюда, да порезвей, – посоветовал Рух. – Чапайте по дороге, назад не оглядывайтесь, к полудню придете в Нелудово. Там вас приютят, накормят и обогреют.

– Спасибо. – Монах ткнул верзилу локтем под дых, и оба закланялись.

– Благослови, отче. – Федор скинулся с телеги и хлопнулся на колени в подсохшую грязь. – Мне без благословения никак нельзя, дело задумали богоугодное, да дюже опасное.

– Э-э, ммм. – Монах на мгновение смутился, откашлялся и, осенив Федора неуклюжим крестным знамением, возвестил: – Благословляю тя, раб божий...

– Федор.

– Раб божий Феодор. Ступай с Богом.

Федя сцапал сухонькую ладонь, звучно чмокнул и ошастливленный запрыгнул в телегу.

– Бывайте, отцы, – отсалютовал Рух. – В Нелудово ищите Устинью Каргашину, ух добрая баба, монахов хлебом-солью привечает всегда! Скажете – Рух Бучила послал. Со всем по-

⁹ *Надысь* – то же, что и давеча.

чтением встретит!

Сделав пакость, остался доволен собой. Представил Устиныно лицо при виде монахов на пороге и сладко зажмурился. Пустячок, а приятно.

Чернецы скрылись за изгибом дороги, словно и не было их. Странные ребята, ох странные. В церковных делах Рух изрядно поднаторел. Не, не в той части, чтобы малолетнего служку за аналоем прижать, винишко для причастия пить или пожертвования присвоить. Монах попался какой-то неправильный. При благословении должен пальцы особым манером сложить, а этот обычным двуперстием, сикось-накось перекрестил. Хотя какое Руху до этого дело? Может, дедушка еретик или умишком тронулся на старости лет? Бог простит.

Лес по правую руку начал редеть, сосны кривились и завязались в затейливые узлы, никли к земле, недобро шелестя по ветру болезненной, пожелтевшей хвоей. Плесневелые стволы треснули и сочились мутной смолой, пахнувшей кровью и тухлым яйцом. На серой земле тут и там валялись костяки мелких зверей. Сбоку дороги дыбились расплывшиеся курганы. Вот и могильник.

– А ну, Федюня, останови, – приказал Рух и спрыгнул с телеги. Языческий жальник заливала зловещая тишина. Птицы замолкли. В таком месте только мертвякам и бродить, всякая живая тварь убегает, отпугнутая древними чарами и напоенной ядом землей. Бучила проверил тесак в кожаных

ножнах на левом бедре. Широкий, тяжелый, острый клинок с ухватистой березовой рукоятью. Первейшая вещь – заложным головы сечь. Тесак Бучила ласково прозвал Поповичем. Лет десять минуло с той интересной истории. Явилась убивать Руха голытьба из Нечайкова, упились до смерти, расхохорились, похватили вилы да топоры. За главного – Егорка Брылов, поповский сынок, с тем тесаком. Ну Рух их чуточка пугнул – бежали нечайковские охотники на упырей, аж пятки сверкали. А заводилу Бучила сцапал и трое дни у себя продержал, заставлял песни петь, богохульствовать, полы мести и нетопырьё дерьмо убирать. Пальцем не тронул, ну разве навешал поджопников вразумительных. Потом сынка папеньке с рук на руки сдал, уж больно слезно батюшка умолял. Тесак оставил себе в память о победе, велел кузнецу пустить по лезвию узорчатую скань серебром. Не для пущей красоты, а для дела – нечисть, всякий страх потерявшую, сечь.

Сухая и ломкая трава под ногами рассыпалась в прах. Рух остановился и недоуменно хмыкнул. Гнездовина из десятка курганов оказалась раскопана. С окатанного дождями отвала щерился череп без нижней челюсти. Рядом, россыпью, старые кости, осколки керамики, позеленевшие медные побрякушки. Разрыли давно, с месяц уже, как только сошли большие снега. Причем не лопатой орудовали, судя по всему, ямы нарыла огромная псина, откидывая землю назад между лап. Кое-где сохранились следы длиннющих когтей. Бучила присел и приложил руку. Ничего себе. Когтищи в пару вершков

¹⁰. Нешто медведь? Ага. Хреноведь. Какого лешего косолапому старые могилы копать? Чай не дурной.

Размышления прервал отчаянный, раздирающий душу лоскутьями вопль. Рух вскинулся. Федя, ети его впятером! Ну шалопут, ни на мгновенье оставить нельзя! Возница несся прочь от телеги, высоко выбрасывая тощие ноги и придерживая куцую шапчонку на голове. Причина геройского бегства выяснилась незамедлительно. Из зарослей корявой лещины вывалилось жуткое чудище – расхристанное, грязное, покрытое коркой спекшейся крови. Неуклюже заковыляло, вытягивая лапы и надсадно скуля. Рух уж было приготовился последовать примеру раба божьего Федора, ну его на хрен, связываться со страшилой таким. Но одумался, разглядев в чухвилище человечьи черты. Поди случилось чего, ограбили, или жена прогнала. Непреодолимая тяга к помощи ближнему пересилила полоснувший мертвое сердце навязчивый страх.

– Там, там! – проорал запыхавшийся Федор, тыча за спину и по-совиному округляя налитые кровью глаза. – Беги, Заступа, спасайси!

И попытался пролететь мимо. Не тут-то было. Рух сцапал за шкурку, потряхнул, отвесил успокоительного леща и ласково проворковал:

– Стой, а то ноги сломлю. – И добавил звонкую оплеуху поперек принявшего землистый оттенок лица.

¹⁰ *Вершок* – русская мера длины, равная 4,4 см.

Федя рыпнулся, воротник затрещал, он обмяк, подкашиваясь на тряпичных ногах. В глазах появилась осмысленность.

– Сбежишь – как котеночка удавлю, – пообещал Бучила и разжал хватку. Федя едва не упал, залепетал неразборчиво и спрятался у упыря за спиной.

До ободранного мужика остался десяток саженей, Бучила почувствовал тошнотворный запах тухлятины, мокрой псины и стоялой воды.

– Помалкивай, – погрозил Рух напарнику. – Выкинешь чего – тут тебе и конец. Усек?

– Усек. – Федя утробно сглотнул. – Там... там... о-е-ей...

– Он не опасный, наверное. – Рух, не сводя глаз с ковыляющего страшилища, вытянул руку. – Эй, мужик, а ну осади, боимси тебя!

Мужик послушно замер, весь перекосившись на правую сторону. Остатки одежды висели лохмотьями, вместо лица – маска из сукровицы и грязи. Борода и шевелюра сваялись в колтуны, набитые листьями, веточками и сосновой хвоей. Незнакомец закрутил головой на манер прислушивающейся собаки. Корка на щеке лопнула, сочась отвратительной зеленцой. Почерневшие губы с трудом разлепились, и мужик неуверенно прохрипел:

– П-п-п... – Он задумался, сисясь вспомнить нужное слово. – П-помогите...

– Только не подходи, помощь близка. – Рух сделал успо-

коительный жест. – Звать тебя как?

– Э-э, ммм... – Страховидло задумалось. – Э-э, п-п... П-памяти нет, отшибло...

– Пить надо меньше, – посоветовал Рух. – Давай вспоминай. Имя, коим при крещении нарекли. Ну или при обрезании, хер тебя разбери.

– П-п...

– Да понял, что пы.

На лице мужика проявилась улыбка, похожая на пнутую в бочину сгнившую тыкву. Он шумно замотал головой.

– П-пантелей я. П-помогите...

– Ну вот, а то заладил: не знаю, не помню. А сам ишь башковитый какой. Ты откуда?

– П-п-пу...

– Не помнишь?

Пантелей обрадованно закивал.

– Здесь чего забыл? Гуляешь?

– П-п-пр...

– Ясенько. – Рух подошел ближе. От запаха слезились глаза. Федя держался молодцом и о побеге больше не помышлял. А может, сознание с открытыми глазами потерял. Страх – дело единоличное: кто портки дерьмом ляпает, кто обмирает, кто дурнем орет. Федя вон, похоже, все стадии испытал. – Ты, Пантелеюшка, замри, я гляну, чего у тебя на уме.

– У-ур. – Пантелей послушно подставил башку.

Бучила осторожно вытянул руку, готовый отпрыгнуть и сигануть в кусты при малейшей опасности. Досталось Пантелею здорово: тело исполосовано, в прорехи остатков одежды виднелись кровоподтеки и засохшие струпья, на лице ссадины и порезы, кожа на темени сорвана, чуть ниже набухла шишка размером с кулак. Когда так отделают, не только памяти лишишься... Ладонь коснулась лба, Пантелей задрожал осиным листом.

– Тихо, тихо. – Рух закрыл глаза. Вот она, одна из немногих приятных сторон упыриной жизни – при удаче можно воспоминания прочесть. Умение бесполезное, но иногда пригождается. Пальцы покалывали мелкие иглы, по предплечью побежал холодок, чужие воспоминания пришли яркой вспышкой: запах свежего хлеба и парного молока, домашний, умиротворяющий, грызущий мертвую душу. Баба в платке камнем кидается на грудь, Рух почувствовал жар молодого упругого тела. Рядом вились ребятишки – мальчик и девочка. Похоже на прощание. Женщина всхлипывала, что-то сбивчиво говорила, но слов не слышать. Вспышка, темнота.

Рух отшатнулся, руку свело до плеча. Понятней не стало: ни кто этот Пантелей, ни откуда, ни какого хрена сюда угодил.

– Так, Пантелей, поступаешь в мою банду. – Бучила многозначительно воздел палец к небу. – Слушаешь атамана, дурацких вопросов не задаешь, имеешь долю добычи: золо-

тишко, рухлядь и всяческих баб. Ясно?

Пантелей закивал, издав утробное звериное рычание.

– Все за мной! – Бучила двинулся прочь от вскрытых могил.

– Заступа-батюшка. – Федор догнал и деликатно потрогал за рукав, кося ошалевшие глаза на бодро ковыляющего Пантелея. – Он... он...

– Да ладно тебе, хороший мужик, – отмахнулся Бучила. – Горюшка вдоволь хлебнул, одичал, говнищем обмазался, с башкой нелады, а может, и отродясь такой был. Ты с ним поласковой. Доброе слово и кошке приятно, а тут человек.

Федор сдавленно заматерился в ответ и поспешил к телеге, подальше от «хорошего» мужика, увязавшегося за Рухом навроде верного пса. Лес вокруг потемнел и насупился, хотя солнышко пригревало сильней и сильней. Вершины корявых сосен качались вразнобой, внушая зыбкое беспокойство. Кроме заложных, чувствовалось присутствие кого-то куда более опасного и злобного, смердящего падалью, ужасом и жадной убийства. Совсем рядом и одновременно далеко.

Каблук мерзко чавкнул, погрузившись в вязкую жижу. Бучила недовольно поморщился, разглядывая испачканные сапоги. Низина не успела просохнуть, от земли тянуло сырým холодком. Возле дороги раскорячилась брошенная телега. Такая же, как у Федора. Подозрительно. Рух усмехнулся собственной шутке. Ага, подозрительно, тут все телеги на ты-

сячу верст вокруг одинаковые. Вот он, груз пропавших возчиков. Откуда-то наносило гнильем. Пантелей весь сжался, стал меньше ростом и наступил Руху на пятку.

– Ты чего?

– П-плохое м-место, – выдавил Пантелей.

– Серьезно? Надо же, а я и подумать не мог. – Бучила любопытно сунулся под грубую, набухшую от влаги холстину, укрывающую повозку. Пальцы коснулись металла, очень тонкого и ажурного, чуть задержались и нащупали гладкое дерево. Станный предмет легко сдвинулся с места, и Рух вытащил на свет божий икону. Святой, сложивший руки в молитве, смотрел сурово и осуждающе. Хламида отлетела в сторону. Повозка была забита иконами на любой, самый взыскательный вкус: для истово верующих с Богородицею, для любителей запретного с чертями, волокущими распутных баб прямо в Ад.

Заскрипели раздолбанные оси, подъехал Федор, кубарем скатился с облучка и по-хозяйски полез в брошенную телегу. Даже скромно стоящего в сторонке Пантелея бояться перестал. Версия с разбойниками рушилась на глазах.

– Вот ты, Федор, чужое бы взял? – спросил Бучила.

– Я? – оскорбился такому повороту Федор. – Да ни в жисть! Я чуж...

– А за пазухой че у тебя?

– Ой, ептель! – Федя искренне удивился, заметив за отворотом зипуна край небольшой иконы в серебряном окладе. –

Причепилась, кады в телегу полез!

– Бывает, – согласился Бучила. – Я не в претензии. Как в Писании сказано: не суди и не судим будешь!

– Золотые слова! – Федор вернул икону на место.

– Еще раз такое выкинешь – убью, тут уж не обессудь. – Рух задумался. – О чем это я? Ах да, чужое добро. Если тати возчиков порешили, то почему к ним иконы не причепились, как к тебе? Зачем душегубством руки марать, если грабить не стали? За доски деньгу можно великую взять.

– Знать, не разбойники то, – поддакнул Федя.

– Выходит, нет.

– Странностей не замечаешь, Заступа-батюшка? – Федор поводил острым носом, словно принюхиваясь.

– Вроде нет, – признался Рух. – Люди пропали, кругом шастают ожившие мертвяки, кто-то раскапывает могилы. А так нет, никаких странностей, расстройство одно.

– Лошади нет! – Федя победно хихикнул. Вроде ого умный какой, подметил важную вещь.

Лошади действительно не было. Оглобли сломаны, упряжь оборвана, окровавленный хомут валялся в грязи. Ну нет и нет, может сбежала, пасется теперь, шалая от свободы, где-то в лугах. Бучила напрягся в нехорошем предчувствии. Тянуло гнильем. Фебина кобылка испуганно всхрапнула и запряла ушами. Позади, в кустах, кто-то был.

– Не оглядывайтесь, – вполголоса посоветовал Рух. Лучше б молчал...

– Чего? – Федя резко обернулся и издал странный шипящий стон. Будто в кузнечный мех ткнули ножом. Говорили тебе...

С другой стороны дороги на просвет вывалилось колченогое, грязнущее, растрепанное обрыдище о двух ногах, двух руках и голове. Воскресший мертвец во всей красоте. Лицо жутко раскромсано, половина щеки и нижней челюсти выдраны. В дыре мерзко хлюпало, среди лохмотьев отмершей плоти клацали хищно удлинившиеся острые зубы. Руки скрючены сухими ломкими ветками, на кончиках пальцев начали отрастать черные когти. Из развороченной бочины торчали осколки ребер и вихлялись ошметки гнилых, поеденных зверьем потрохов.

– Башку ему секи, Заступа-батюшка! – взвизгнул Федя.

Бучила замешкался, имея на заложного несколько иные виды.

– Дай сюды! – Федя попытался вырвать тесак.

– Руки убрал! – вызверился Рух. – Живьем мертвяка брать. Хватайте с двух сторон, жмите к земле.

– Заступа, – простонал Федор.

– Быстро! – крикнул Бучила. Пантелей, парень исполнительный и десятка не робкого, шагнул навстречу заложному.

– Ой горюшко! – Федька прыгнул с другой стороны.

Мертвец глухо завыл и на мгновение растерялся, не зная, кого уцепить.

– Кусаться не дайте, иначе конец, враз загниешь, – напут-

ствовал войско Рух, как полагается воеводе, оставаясь в безопасности позади.

Пантелей, вот исключительной полезности человек, ловко ухватил заложного за волосы и оттянул башку с щелкающими челюстями назад, одновременно выворачивая правую руку. Федя, взбодрившись боевым кличем, похожим на козлиное блеяние, заломил мертвяку левую руку. Заложный дернулся, зарычал, послышался треск, Федор обескураженно ойкнул и едва не упал, не понимая, куда девать оторвавшуюся руку. Рука крючила пальцы, часто-часто сжимаясь в кулак.

– Держи, мать твою! – рявкнул Бучила, выбирая, с какой стороны подступить.

Федя отшвырнул лапищу и вцепился в брызгающее гноем плечо. Рух обежал компанию со спины и в три сильных удара подрубил заложному обе ноги. Лопнули подколенные жилы, воющий мертвяк подломился и шумно осел. Помощнички прижали комок дергающегося вонючего мяса к траве. Ничего, отмоются, река близко, а апрельская водичка дивно бодрит.

– Не отпускать! – Рух саданул заложного сапогом по лицу. Под каблуком мерзко хрястнуло, мертвяк закашлялся, подавившись зубами. Теперь не укусит, падла, разве деснами иссосет.

Бучила, не снимая ноги с мерзкого рыла, быстро присел и коснулся головы с отслоившейся кожей. Вспышка. Виде-

ние...

Перед глазами покачивался гнедой лошадиный круп. Холеная лошадка бежала бодро, потрясывая хвостом и взлягивая копытами. Молодая, резвая, сытая. Под лоснящейся кожей играли тугие жгуты скрученных мышц.

– ...и забеременела, а от кого – хрен разберешь, – звук появился внезапно. – Бегает по деревне, виновника ищет, а мужики морды отворачивают и глазенки паскудные прячут.

Конец фразы утонул во взрыве звучного хохота. В руки возницы сунули глиняный кувшин. Забулькало. Возница напился, крякнул и вытер усы.

– Ух хорошо, братья! С доброй компанией да чаркой хмельной к ночи будем на перевозе. Отгрузимся, покемарим, и поутру я обратно к жене.

– Припрешься, а у ней под боком Сенька Косой храпит, за сиську держится, – добродушно хмыкнул невидимый собеседник.

– Да ты чего, Ермолай? – всполошился возница. – Чтоб Нюрка моя да с Сенькой Косым?

– Косые по мужицкой части дюже сильны, – поддакнул третий, едущий на телеге. – Знамое дело, Господь если где недодал, то в другом месте прибавит.

– Скажете тоже, – пренебрежительно фыркнул возница, но в голосе проскользнуло волнение. Видать, представил супругу с противным Сенькой Косым. – Не может этого... – и осекся.

Впереди, на изломе дороги, густой темный лес породил жуткую костлявую тень...

Рух рывком пришел в себя, едва не упав от нахлынувшей слабости. В ушах стояли дикие предсмертные вопли, к губам лип тошнотворный привкус крови и желчи. Дело чуть прояснилось. Мужиков убила какая-то тварь, а потом, брошенные без погребенья, тела поднялись. Оpoznать гадину Бучила не смог, видение оказалось короткое и сумбурное. В конце он почти ослеп, хлебнув через край жуткой боли, доставшейся несчастному возчику.

Заложный заелозил, задержал перебитыми ножками. Рух примерился и одним ударом снес гнилую башку. Тесак ушел в землю на целую пядь.

– Все, отпускайте ублюдка. – Рух пошатнулся. Его мутило. Мысли плясали дьявольский хоровод. Кажущееся простым дело приняло совсем иной оборот. Сходи, Заступа-батюшка, угомони мертвяков. Плевая работенка. Ага, теперь ноги бы унести. И желательно не в руках. Одна надежда – тварь насытилась и ушла. Сильная, злобная, живучая мразь. Столкнуться с такой – удовольствие малое.

– Узрел, Заступа-батюшка? – благоговейным шепотом спросил Федор.

– Угу, – кивнул Рух. – Ничего интересного. Рука где?

– Кака рука?

– Кака рука, – передразнил Рух. – Которую оторвал.

– Выбросил, – растерялся Федор. – Тебе какой с нее прок?

– Надо найти, – глухо сказал Бучила.

– Я в-видал. – Пантелей сорвался с места, прыгнул в овражек у дороги и затих, словно пропал.

– Пантелюша? – напрягся Бучила.

– Л-лошадь, – сообщил Пантелей.

– Значит, с голоду не померем, – неуместно пошутил Бучила и застыл на краю заросшей сухой крапивой промоины. На дне, усеянном исторгнутыми землей валунами, Пантелей баюкал у груди оторванную руку. Рука пыталась царапаться, судорожно перебирая пальцами, но Пантелей не обращал на нее никакого внимания. У ног лежала пропавшая лошадь. То, что осталось: куски гнилой туши, выложенные затайливой извилистой змейкой. Голова, ноги, копыта, мясо со шкурой, кучки заветренных потрохов. Налицо потраченное время и больная фантазия. Руху окончательно поплохело. Давным-давно он видел подобное. Предпочел забыть, вроде удалось, ан нет, нахлынуло вновь. Да так, что ноги подкосились и по спине противная дрожь. Случилось это во времена московского царя Юрия, принявшего жуткую смерть от неизвестной болезни, супротив которой лучшие лекари оказались бессильны: государь истек гноем, и по Руси поползли зловещие слухи о колдовстве. Для Руха тот год выдался дивно спокойным, и только на Пасху выкликали его на хутор в двух верстах от Нелюдова. Неизвестное чудище влезло ночью в избу и убило всех, спаслась только малолетняя хозяйская дочь. Девка на помощь и позвала. Тварь отыскалась

в опочивальне, рядом с окровавленной люлькой. Не шибко большая, человеку по пояс, приземистая, тощая образина, свитая из прогнившего мяса и жил. На Бучилу не обратила внимания, сидя на полу и сосредоточенно выкладывая на полу змейку из разорванного на части мальчика. На память о той жаркой встрече Руху остались восемь сломанных ребер, разбитое в крошку колено и исполосованная когтями спина. Отлеживался несколько месяцев, скулил жалобно, пока не срослось, даже свадьбу пришлось пропустить. Пока болел, книжки старые полистал, с умными людьми и нелюдьми по-советовался, вызнал про странную тварь. Оказалась паскуда по-ненашенски рескером, а по-нашему – воздягой. Воздяга не рождался из умерших некрещеных детей и не вылуплялся на дне черного торфяного болота среди утопленников и склизких корней. Воздягу мог создать только колдун, владеющий искусством страшным и темным, казалось бы безвозвратно утерянным во времена, когда обратились в пепел последние капища старых богов. Особый род нечисти, беспрекословно выполняющий волю хозяина. Известно о нем крайне мало, а то, что известно, не внушало доверия. Так, бабкины пересуды. Все сходились в одном: первый признак появления рескера – цепочки из кусков растерзанных тел. У жертв рескер высасывал кровь, разрывал тела и впадал в оцепенение, увлекаясь страшной забавой.

Бучила утробно сглотнул. Ну здрасти, снова увиделись. Тот рескер совсем махонький был, слабенький, его застали

врасплох, и то чуть в могилу не свел, а в видении погибшего возчика мелькнула большущая, откормленная кровью и страданием тварь. Успокаивало одно – присутствие воздыга ощущалось слабенько. Прикончил мужиков, поиграл с лошадыю и убрался хрен знает куда по своим ублюдским делам.

– Пантелеюшка, вылезай, – ласково позвал Рух.

Пантелей оторвался от созерцания конских останков и неуклюже вскарабкался вверх.

– По сторонам поглядывайте, мало ли что, – нагнал туману Бучила, забрал руку и вернулся к обезглавленному телу. Происходящее нравилось меньше и меньше. Оторвать руку трехнедельному мертвецу – задача нелегкая. А тут раз – и отлетела к херам. В пылу баталии Рух не обратил внимания на весьма значительную деталь. Теперь, по уму, нужно было наплевать на заложных, хватать мужиков, прыгать в телегу и нахлестывать жалкое подобие арабского скакуна аж до Нелюдова. В селе цапать старейшин и пристава за куцые бороды и засылать гонца в Бежецк, пускай губернатор прекращает пиво хлестать да девок дворовых тискать, поднимает головурезов из Лесной стражи и Черных сотен да в придачу с десятков попов посильней и сюда, Птичий брод прочесывать с полным усердием. Если воздыга поблизости, брать его в оборот, загонять всей оравой и лупить смертным боем до полного удовлетворения. Потому что биться с тварью один на один Руху совершенно не улыбалось, а от Пантелея с Федором, в случае чего, будет не помощь, а смех. Сквозь кро-

вавые слезы.

– Заступа-батюшка, – не выдержал Федя.

– Отвяжись, думаю я, – шикнул Бучила. Федор обиженно засопел и притих.

Рух стоял, рассматривая обрывки тонкой, набухшей от крови и гноя веревки, торчащие из оторванной руки и плеча мертвеца. Нет, ну что за день-то сегодня такой? Кто-то заботливо и умело пришил заложному руку, пока неугомонный Федя ее снова не оторвал. Причем рука прекрасно прижилась на прежнее место. Кроме руки, грубыми стежками были зашиты раны в животе мертвеца и длинный, безобразного вида порез, тянувшийся от паха, через правое бедро до колена. Мужика сначала основательно изодрали и, зная, что мертвец непременно поднимется, кропотливо заштопали, чтобы ни дай Божечки не развалился на части. Мысль пришла кристально ясная: «Если удариться в бега прямо сейчас, то все еще может и обойтись». Скинуть паскудное дело властям, забиться поглубже в подземелье и переждать. Храбрость и тяга к самоубийству никогда не были Руховыми сильными сторонами. Съездил, сука, поохотиться на живых мертвецов. К поганым сюрпризам Птичьего брода добавился очередной и, видать, не последний: кто-то, совсем умом тронутый, додумался сшить разорванные воздьягой тела. Благодаритель, ети его в дышло. Мертвячий лекарь. Рукоблуд-рукодельник. Тут не прочесывать надо – огнем выжигать.

Очередного заложного Бучила почувял прежде, чем раз-

глядел, уловив легкое изменение в воздухе. Мертвец был поблизости, но нападать не спешил. Знамое дело – Рух его чувствовал, а мертвяк Руха. Кумекал гнилыми мозгами, человеческого в нем осталось малясь, не понимал – почему упырь рядом с живым. Опасается, прячется, ждет. И, скорее всего, глазами заложного смотрел новый хозяин, хренопутало, которое вместо куколок детям мертвяков нитками шьет.

– Федор, – нарушил молчание Рух.

– Ну. – Рыжий, бесцельно подпрыгивающий на краю овражка, застыл.

– Рядышком будь, от меня ни на шаг. – Бучила взвесил тесак на руке. Заговоренная сталь вселила уверенность. – Пантелей, а ну проверь тот лесок.

Пантелей послушно заковылял в сторону чахлої березовой рощи. Деревья стояли голые, умирающие, ветки осыпались, береста отслоилась, почернела и собралась в завитки. Трава торчала жухлыми лохмами. Пантелей, прихрамывая, скрылся за деревьями. Рух кивнул Федору и быстрым шагом юркнул в рощу, взяв сажений пятьдесят в сторону. Под ногами хрустнул тонкий валежник, в ямах догнивали упавшие деревинки, покрытые плесенью и трутовиком, мягко пружинили прелые листья. От огромной, треснувшей надвое березы, отделилась черная тень. Ага, Пантелей поднял дичь. Приземистая несуразная фигура тырснула ¹¹ через кусты.

– Федя, за мной! – Бучила азартно бросился наперерез.

¹¹ *Тырснуть* – то же, что шмыгнуть.

Кожа и плоть со спины заложного слезли, обнажая сломанные ребра и выпирающий искривленный хребет. Звонко щелкали голые позвонки. Рух, успев заметить грубые стежки на шее и правом боку, ударил наотмашь. Мертвец обернулся, мелькнуло оскаленное жуткое рыло без носа, с туманными, подернутыми маслянистой пенкой глазами. Где твой хозяин-то, тварь? Ах сука! Заложный вломился в низкорослый рябинник, Бучила зацепился об узловатое корневище, врезался в зловонную, тошнотворно мягкую спину и плашмя рухнул сквозь заросли с обрыва, прямо к реке. С размаху приложился башкой, едва не напоровшись на остро обломанный сук, но добычи не упустил. От удара помутилось в башке. Мерзко чавкнуло, будто лопнул огромный нарыв, пошла волна нестерпимого смрада. Под Бучилой ворочался, рычал и плевался гноем оживший мертвяк, царапая когтями грязный песок и пытаясь огрызнуться через плечо.

– Н-на, сука! – Рух вбил рукоять тесака в затылок с остатками сальных волос. Череп треснул, брызнув в лицо и на грудь черной бурдой. Заложный утонул рожей в песке. – Шалишь, паскуда! – Рух вскочил и отчекрыжил гнилую башку. Можно было воспоминания посмотреть, да интуиция подсказала – ничего нового в поганных мыслях заложного нет, да и время поджимало уже. Перед ним мерно плескалась вода. Еловый бор на другом берегу угрюмо шумел.

– Заступа! – По обрыву, в ручьях песка, съехал Федор. Лицо перекошено, рот кривой, гляделки чуть не выпали из

глазниц. Переживал рыжий – приятно.

– Победил я его, но уж это как водится, – напыжился Бучила, отплевавшись грязью и опавшей хвоей. В горле першило, очень хотелось пить. – Пока ты дурака ва... – Рух резко заткнулся. В висках противно и тревожно затюкало. Правый глаз непроизвольно задергался. Протянувшиеся по берегу, плоские, сглаженные ветром и снегами курганы были раскопаны все как один. Причем недавно, словно землекоп только взял и ушел, испугавшись неистового Федора, воплей и суеты. Земля на отвалах была еще влажная, темная, из глубоких могильных ям тянуло холодом, сыростью и ушедшей зимой. По спине пробежали ледяные костлявые пальцы, провели по позвоночнику и крепко сжали кадык. Через могильные ямы тянулся слой жирной синей глины. «Из такой свистульки бы делать», – закралась в голову дурацкая мысль. Такие, чтоб народ на века запомнил потом. Как в том году, дурачок юродивый из Завидова, Ефимка Козел, известный мастер свистулечных дел, совсем головенкой тронулся, налепил свистулек в виде голых попов, солдат да князей, ну а дуть в энти свистульки надо было понятно с какой стороны... Сраму было... Забрали Ефимку с торга и никто больше его не видал. К чему это? Ах да, юродивые...

Рух повернулся медленно и обреченно – так приговоренный всходит на плаху под вой и стоны толпы. Здрасти, давненько не виделись. Густой подлесок исторг на песчаный обрыв фигуру в мешковатой одежде до пят. Давешний мо-

нах-дурачок. Легкий ветерок перебирал рясу, выпачканную приметной синей глиной. Черный провал под капюшоном уставлен на Руха. Чужой, злобный, изучающий взгляд. Предчувствие кровавого пира.

– О, ты нам и нужен! – обрадовался Федор. – Нечистые шастают! Святое слово не помеш...

– В воду, дурак, – прошипел Бучила. Хотя почему Федя дурак? Рух Бучила – главный придурок на всем Птичьем броду и на сто верст округом него. Гордыня разум затмила. Вот тебе запах колдовства от монахов, разрытые могилы и сшитые мертвяки. Сейчас клочки по закоулочкам полетят. Ладно, может, Федор спасется, воздыга, как и всякая нечисть, боится проточной воды. Рух и сам бы по шейку залез, да ведь и сам-то он нечисть...

– Заступа? – опешил Федор, переводя изумленный взгляд с монаха на упыря.

– Беги, – процедил сквозь зубы Бучила и рывкнул: – Проваливай, дурень!

Федор приготовился разрыдаться и мелко попятился. Плеснула вода. Ничего, лучше обиженным жить, чем не обиженным с апостолом Михаилом на райских воротах душеспасительные беседы вести.

Монашек скособочился на левую сторону, капюшон упал. Федор шумно сглотнул. Голова под черной тканью оказалась синюшная, неживая, безглазая. Рух махнул тесаком, разминая затекшую руку. Честные бои один на один он никогда не

любил. Рыса стекла с монаха и упала к ногам.

– Твою же мать, – Федя подобрал самые нужные и верные слова.

На откосе припала к земле сгорбленная страшная тварь, порождение ночного кошмара сине-зеленого цвета лежалого мяса. Человеческая голова-обманка, упав назад, болталась уродским наростом, уступив место башке настоящей – узкой и шишковатой. Мутные, утопленные в черепе зенки устали на Бучилу. Треугольный провал вместо носа шумно тянул сгустившийся воздух. Из пасти, полной острых, в два ряда, искривленных гнилым частоколом клыков, тянулись липкие нитки желтоватой слюны. На мощных задних лапах, вывернутых коленями взад, покачивалось поджарое тело, свитое из выступающих костей и перекрученных мышц, покрытое струпьями и мокнущими болячками. Передние лапы, толстые и узловатые, с загнутыми когтищами, хищно крючились возле груди. Воздыга траханая во всей красоте.

– Сопли подбери, мразотень! – устало подначил Рух.

Воздыга сиганул молча, а от этого в сто раз страшней. Уж лучше бы завывал. Гибкое, траченное проказой тело распласталось в прыжке. Рух напрягся, готовя единственный точный удар. Второго шанса не будет, с этой тварью не потягаешься, живо в лоскуты раздерет. Бучила развернулся вполоборота, замахнулся, и тут между ними вклинилась тень, Рух и опомниться не успел. Его задело вскользь, отшвырнуло к реке, тесак отлетел. Вода жадно плеснула в верхке от лица,

левой рукой вляпался по запястье, благо у берега неглубоко. Бучила зашипел от резкой, обжигающей боли, отпрянул, поскользнулся и упал на белый песок. Ладонь дымилась, кожа пошла пузырем.

На берегу, в паре саженей от него, воздыга терзал Пантелея. Когти с треском кромсали плоть. Пантелей сжимал монстра и надсадно хрипел, выплевывая черную кровь. Гнилая слизь с оскаленной пасти сочилась ему на лицо. Рух метнулся, выудил из песка тесак и рубанул, целя в шею. Воздыгу шатнуло, лезвие скользнуло по выступающим позвонкам и впилося тварюге в плечо. Монстр заворчал. Когти с хлюпаньем вышли из Пантелея. Доигрался, дурак? Рух раскачал застрявший клинок и не поверил глазам. Истерзанный, измочаленный Пантелей засипел, с силой прижав воздыгу к себе. Со стороны это походило на дружеские объятия. Чудище задергалось, завертело башкой, заскулило протяжно, когти замелькали с ужасающей быстротой. На этот раз Бучила не промахнулся. Попович вошел, аккурат где уродливая башка переходила в шею, свитую из толстых сиреневых жил. Мерзко хрустнул рассеченный хребет, воздыга надрывно завыл. Рух отпрыгнул, да не совсем как хотел. Когтистая лапища рванула балахон на груди. Упырь отлетел и упал. Тварь бросила терзать Пантелея, неуклюже скакнула огромной лягухой и рухнула плашмя на живот. Задние лапы рыли прибрежный песок, чертя кривые длинные борозды. Воздыга пополз боком, подтягиваясь когтями и оставляя на белом песке

черный дурно пахнувший след. Две башки – своя и обманная – болтались по сторонам.

«Достал падлу!» – ликующе подумал Рух и взгромоздился на тряпичные ноги, шалый от удачи и радости.

– А ну погодь! – заорал он и, шатаясь, побрел за врагом.

Воздяга оттолкнулся всеми четырьмя, пролетел сажени три и шмякнулся кучей дерьма. Рух чувствовал недоумение, захлестнувшее тварь. Страха воздяга не испытывал, не умел, просто хозяин велел ему уходить.

– Стой, дерьмоед! – Рух захромал, размахивая оружием.

Воздяга рванулся, прыгнул на откос, чутка не рассчитал и врезался грудью, посыпались комья земли. Чудище заработало лапами, неловко втянуло себя наверх и утащилось в лес. Догонять сил уже не было, Рух плюхнулся на колени, опершись на тесак. Его колотило. Располосованный балахон хлопал на ветру, из порезов сочилась белесая упыриная кровь. Сука, легко отделался!

Пантелей ворочался и хрипел, силясь что-то сказать. Черные губы слиплись, кожа, содранная со лба, лезла в глаза.

– Тихо-тихо. – Рух подполз к спасителю и успокаивающе провел рукою по голове.

Пантелей послушно затих. Потрепало его славно: тело искромсано, сломаны обе ноги, осколки костей торчали из ран. Он отупело-изумленно пробормотал:

– С-совсем не б-больно...

– Заступа! Заступа-батюшка! – Из воды выскочил Федор,

подняв тучу переливающихся на солнышке брызг.

– Ну чего орешь? – поморщился Рух.

– Ты... ты... ты ж... – зачастил Федор, перевел взгляд на Пантелея и всплеснул руками. – Он... он тебя оборонил!

– Я же говорил, – слабо улыбнулся Бучила. – В ком-то осталась божья искра, ее ведь ни колдовством, ни злодейством не потушить.

– Да хрен ли теперь! – Федор бросился к Пантелею, заохал. – Ты держись, Пантелеюшка, держись. Ух и молодец, не спужался тварюги адовой.

Пантелей закивал, надувая багровые пузыри.

– Не вернется чудище? – Федя покосился на лес.

– Не должно, – уверенно откликнулся Рух.

– Вот подлюка! – расхорохорился Федор. – Как он под мо-
наха подделался, я и не углядел! Ну страховидла кака!

– Воздягой зовут, – сообщил Бучила. – Вырастить такого может только сильный колдун, вызвать из тьмы, кровью и человечиною откормить и в узде удержать.

– Чернец-старичок! – ахнул догадливый Федор.

– Он, дерьмища кусок, – кивнул Рух и плотоядно причмокнул. – Мне б его на часок, ох и интересный вышел бы разговор.

– А я у него, сволочи такой, благословенья просил. – Федя едва не расплакался. – Помру я, наверно, теперь?

– Все помрем, – в свойственной паскудной манере успокоил возчика Рух. – Да не бойсь, ничего не будет тебе. Эта

сука на воздязгу защиту набросила, даже я не учуял. Ну-ка, Федь, рясу мне принеси. Иди-иди, нету тут никого.

Федя нехотя вскарабкался по обрыву, в руки брать рясу остерегся, подцепил сучковатой палкой и притащил. Бучила не из брезгливых, сцапал жесткую колючую ткань и принюхался. Пахло беленой, пряной полынью, терпким дубовым отваром и горечью зверобоя. Старое и надежное средство скрыть колдовство. Таким макарком, перед самым татарским нашествием, двое волхвов притащили в Новгород оборотня-берендея, который едва не лишил жизни малолетнего княжича Александра, будущего победителя тевтонов и свеев.

– Колдуны, сволочи. – Федя сплюнул. – Вечно козни против роду людского плетут.

– Угу, нужны вы им больно, – фыркнул Бучила и выбросил рясу. – Как будто у колдунов своих делов нет. Курганы разрытые зришь?

– Ну.

– Ищет что-то в могилках.

– Видел я, глиняные бусы да костяные ножи. Эко богатство.

– А он не золото ищет. Может, вещь какую из старых времен, а может, нужного мертвяка.

– Мертвяка-то пошто? – удивился Федор.

– Если слово заветное знать, крови свежей добавить и жизнь у человека на могиле забрать, то можно покойника с

того света вернуть.

– На хрена?

– Темный, Федя, ты человек. Мертвецы многое помнят из того, что православная Церковь огнем и железом выжгла, и правильно сделала. А лгать не умеют. Силу и знания можно великие взять!

Федор наморщил лоб, задумался и мечтательно причмокнул:

– Я б Акулину Сакулину вызвал. От баба была, кровь с молоком, сиськи по пуду, по селу шла – все кобеля стоечку делали. Дюже ласковая, говорила, уж больно я по мужской части силен. Ни до нее, ни после от живой бабы такого не слышал. В позапрошлом годе от гнилой горячки душу Богу и отдала. Вот бы поднять из могилки да вызнать, правду говорила иль нет? Поможешь, Заступа?

– Легко, – обманул без зазрения совести Рух. – Эх, знать бы, что колдунишка иметый искал. Земля тайн много хранит, и с поганых времен – языческих, и с еще более древних, чуть ли не с ледника. Помню, возле Ладоги рыбак нашел на берегу фигуру железную – вроде баба, а вместо ног щупальцы, титек штук шесть, рожа страшная. Самому в хозяйстве не пригодилась – снес на торжище. Попала фигура к барончику одному, он диковины собирал: змиев сушеных, камни с картинками, всякое барахло. Ну и дособирался. Седмица минула, стали домашние на головные боли жалиться и какие-то голоса. Сначала кот убежал, коты скотинины умные,

опосля собака на цепи удавилась. А ночью боярин умишком тронулся и всю семью топором зарубил. Народ на крики сбегался, а он в горнице, кровью бабу железную мажет и на непонятном наречии голосит. Упекли в монастырь, а хреновину железную – колдовскую – забрали люди из Всесвятой консистории по делам веры и благочестия, тайной службы новгородского патриарха.

– Думаешь, нашел? – заинтересовался Федор.

– Точно нет, иначе бы колдуна с мразотой его и след бы простыл. – Рух мгновение покумекал. – Историю вижу такой: приперся колдун с воздыгою в поводу, для охраны и землю копать – чудище дурное, чего велел колдун, то и сделает. А возчики оказались не в лучшее время в отвратительном месте. Увидели лишнее, колдун воздыгу и натравил, иконы не помогли. Иконы без самострела вообще ненужная вещь. Колдун мертвяков разорванных сшил, пусть бродят вокруг, отпугивают зевак. И все бы сложилось, если бы мы не пришли. Он меня сразу учуял, но чудище натравить не спешил. Связываться с упырем не хотел, пока мы не стали по могилам шарить и мертвякам головы сечь. Теперь убежит и схоронится, век не найти. Но чую, вернется, когда воздыга окрепнет, дела не закончены.

– Авось подойдет чудовище? – затаил дыхание Федор. – Больно знатно ты его рубанул. Башка на нитке висит.

– И не надейся. Очухается, начнет нас искать. Да не дергайся, – поморщился Рух. – Не скоро случится, должно и не

в этом году. Воздьягу простым железом не взять. Надо было голову сечь и тут же предать тело огню, пока новая не отросла. Кстати об огне. Хватит ляды точить. Мертвяков вместе сложить и дров натаскать. Я за горючкой слетаю. Быстро, Федя, быстро.

Пантелея подхватили под руки и уволокли по откосу в тенек. Когда Рух вернулся, сгибаясь под тяжестью пузатых горшков, Федор уже стащил мертвяков в кучу, обложив грудой хвороста и сухих, чуть подгнивших лесин, сверху водрузив вывороченный сосновый пенек.

– Молодец, – похвалил Бучила и сбил сургучовое горлышко. – Лей, не жалеЙ!

Густая, словно сметана, смесь из смолы, серы, селитры и толченого угля полилась на дрова. Вспыхнет – залюбуешься, личный Рухов рецепт, плод ночных бдений, ошибок и ожога на половину спины. Ну вот и готово. Бучила замялся, но Пантелей все понял и сам. Подполз, волоча перебитые ноги, кивнул на кострище и тихо спросил, глотая слова:

– М-мне залезать?

– Залезай, Пантелей. – Рух взгляд не отвел.

– М-мертвый я?

– Мертвый, Пантелей. – смежил веки. – Трое возчиков было, ты третий и есть.

– Ж-жене скажи.

– Скажу.

– А м-может, это... – Пантелей замер. – Ну как его?

– Нет, Пантелей, – вздохнул Рух. – Мертвому лучше с мертвыми, спокойней.

– Да п-подумалось. – Заложный смотрел прямо в глаза. – Стало быть, в Пекло теперича я?

– Не знаю, – признался Бучила. – Ты не своей волей поднялся, худого не совершил, мне помог, Бог простит, милостив он. – Рух кривенько ухмыльнулся. – Правда, не со всеми и не всегда. Одно твердо могу обещать: Пантелея, раба божьего, отпевание закажу.

– Н-не согласится поп, – буркнул мертвяк.

– У меня согласится, – многозначительно смежил веки упырь.

– Благодарствую. – Пантелей кивнул и медленно вполз на костер.

– Тебе спасибо, Пантелей, – едва слышно вымолвил Рух и кивнул Федору.

Тот засуетился, смахнул с уголка глаз скупую слезу, шмыгнул носом, зацокал кресалом. Выматерился и тихо сказал:

– Не могу я, хоть режь, не могу.

Бросил огниво и, шатаясь, убрел к телеге и лошади. Рух не пытался остановить. Всякое в жизни бывает. Люди живых не жалеют, а Федор мертвеца пожалел. Бучила поднял кремень, шаркнул о железа кусок. Сноп искр упал на старое птичье гнездо, из дымка народился крохотный оранжевый язычок.

– Прощай, Пантелей.

Огонек распробовал горючку на вкус, фыркнул и стремительно вырос в жадное гудящее пламя. Рух заставил себя досмотреть до конца.

Федор подвез до самого дома, помог сгрузить иконы у входа. Прощались в молочных сумерках, пахнущих копотью и зеленой травой.

– А мы с тобой неплохая ватага, а, Федь? – крикнул вслед уезжающему мужику Рух. – Бросай извоз, будешь мне помогать.

– А чего нет? – откликнулся Федор. – Вместе мы, Заступа-батюшка, горы свернем, всю нечисть в округе повыведем! Завтрева с утра и заеду, зараз гадин всяких изводить и начнем!

Телега угрохотала под гору. Рух остался, уставший, опустошенный и крайне довольный собой. Стоял, подставив лицо свежему ветерку, смотрел на блеклые звезды и думал о Пантелее, воздяге и колдуне. Думал о мертвых и тех, кому предстоит умереть.

Тем же вечером Федор бросил хозяйство и уехал с семьей из Нелюдова навсегда. Бучила не удивился. Привык быть один. Мертвому лучше с мертвыми, спокойней.

Ночь вкуса крови ¹²

Ад мой тосклив и печален. Вокруг тьма, внутри палящий огонь. Чужой болью притупляю свою, каюсь и тут же душу рогатому продаю. Ни надежды, ни мечты, ни желаний. Сам себе Сатана.

Дождь, пролившийся на закате, принес прохладную свежесть и запахи трав. Тьма овладела Нелюдовом, растеклась по улочкам, затопила дома. Мрак пожрал тени, за дальним окоемом тлели зарницы, новорожденная Скверня стыдливо куталась в лохматые облака. В старых ивах заливались полночные соловьи, созывая невест на гнездо. Перебрехивались дворовые псы, блюдя человеческий покой. Домовой Архип угрелся за печкой, неслышно перебирая лучину. Невелика помощь, а все хозяйке утром сподручнее выйдет. На лежанке похрапывала бабка Матрена, пришамкивала во сне беззубым ртом, что-то шепча. Умаялась старая. Архип, неслышно прокравшись, сложил в подпечье пучок тоненьких, липких от смолы, хорошо просушенных щепок. Так-то лучшей. Огляделся, ища новой работы. Работы не было. Пол чисто вымыт, стол выскоблен, зола вынесена, воды целая кадка припасена.

¹² За основу сюжета взято русское народное предание, записанное замечательным ученым-этнографом Сергеем Васильевичем Максимовым и опубликованное в 1903 году в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила». (Прим. автора).

Пахло щами. В сенях попискивали и шебуршились мыши, на дворе возилась корова Нюрка, кудахтали куры. Все сытые, все довольные. Хороший дом у Архипа, и хозяева ладные: бабка Матрена, тугоухий дед Невзор да дочка Лукерья с малым дитем. За хозяйством следят, меж собою мирно живут, домовому, опять же, завсегда уважение. Каждый вечер ставят за печку плошку жирного молока. А Архипу большего и не надо. Жил до этого в такой избе, так хоть плачь: баба-неряха, мужик горький пьяница, выводок грязных, вечно голодных детей. Пытался Архип это семейство наставить на путь, по-разному озоровал: то горшки побьет, то завоюет среди ночи, то натолкает в трубу камней и травы. Ничего не помогло, плюнул да и ушел. А теперича не жалел.

– Тю, холера! – Архип погрозил кошке, тайком подбиравшейся к молоку. – Мышов лови, не то хвост узлом завяжу.

Кошка обиженно мявкнула и улизнула в дырку под дверь. Архип собрался проведать скотину и замер. Что-то было не так. Изба словно провалилась под землю. Звуки исчезли, резко похолодало. Домовой зябко поежился. Из рта вырвался морозный парок. Откуда ни возьмись налетел колючий ледяной ветерок. Фыркнув, погасла лампадка в красном углу. Архип беспокойно огляделся, страх вцепился в горло костлявой рукой. Нестерпимо хотелось повернуться и убежать, забиться в глубокую яму, спрятаться, переждать. Запахло мертвечиной и кровью. Из угла проступила зыбкая тень. Сгусток мрака, расплывчатый, колеблющийся, жуткий,

тянувший следом черные склизкие нити. Темное отродье, сотканное из злобы, тлена и могильных червей. Мерзко хлопнуло. Тень медленно поплыла в застоявшемся воздухе, склонилась над люлькой, загребая когтистыми лапами, и сдавленно зашипела. Младенец забеспокоился и загулькал. Взрослые спали обморочным колдовским мороком-сном. Архип задрожал, пятась к стене. Маленькое сердечко толчками гнало вскипевшую кровь. Никто не увидел, как маленький на- смерть перепуганный домовый бросился в яростную атаку...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.